V-VI • NEW YORK • 1979

GNOSIS is a religious, philosophical and literary journal in English and Russian.

GNOSIS accommodates new approaches and paradoxical ideas, while not abandoning the stable orientation provided by the Russian religious and mystical tradition. The journal does not represent any single position but respectfully provides a forum for various traditions. It is addressed to all those who are not satisfied with superficial answers but are oriented towards ultimate causes.

GNOSIS is published in New York City as a quarterly journal. The contributors are spiritually gifted individuals, philosophers, theologians, historians, critics, poets and writers of fiction.

Г Н О З И З — G N О S I S

V-VI — NEW YORK — 1979

Виктория Андреева: Время "Чисел"	3
Василий Яновский: Необыкновенное десятилетие (запись	
интервью)	16
	22
Василий Яновский: Поля Елисейские (глава	
о Ю. Фельзене)	34
	56
	65
Евгений Вагин: "Страх России"	75
Леонид Чертков: Д. А. Облеухов	85
	89
	41
	47
Е. Даниел Ричи: В некоем полисе, На востоке Эдема.	
	50
E. Daniel Richie: In some ancient city, East of Eden.	
Леонид Аранзон: Стихотворения. Leonid Aranson: Poems.	
Translation by Richard McKane 1	154
Илья Бокштейн: Стихотворения. Ilya Bokshtein: Poems.	
Translation by Richard McKane 1	162
Анри Волохонский: Двое	168
Елена Шварц: Отземный дождь	
Reviews. Roger Lipsey: Coomaraswamy, His Life and Work, Prin	.ce-
ton University Press, 1977 - A. P.; Material for Thought, T	[he
Far West Press, № 7, 1977 — A. P.; Soviet Union, Special Iss	
Kazimir Malevich, University of Arizona, № 5, 1979 — B. K	pe-
менцова; Оккультизм и Иога, Асунсион, №№ 64, 65, 66, р	- ед.
А. Асеев — Аркадий Ровнер; В. Яновский, Поля Елисейск	кие
—В. А.; Леонид Иоффе, Косые падежи, Путь зари, И., 1970	7—
Виктория Андреева	172
Литературная анкета: Лидия Алексеева, Василий Янов-	
ский, Иван Буркин, Юрий Мамлеев, Николай Боков,	
Игорь Бурихин, Илья Бокштейн, Генрих Худяков,	
Леонид Иоффе, Анри Волохонский	186
Хроника: Вечер пяти стихотворений	
Выбранные места из переписки с друзьями	196
Приложение: Письма Б. Ю. Поплавского Ю. П. Иваску	
Digest of Fifth and Sixth Issues of "Gnosis"	
Аннотации содержания 5-6 номеров журнала	214

Editor: Arkady Rovner

Associate editors: Victoria Andreyeva

Richard McKane Leonid Tchertkov

Representative in Israel: Valery Dunaevsky
Zehov Ezel, 8/14, Givat Tsorfatit,

Jerusalem, Israel Proofreader: Ann Zeller

All rights to the articles, published in GNOSIS belong to the authors.

Manuscripts are accepted in duplicate.

Editorial correspondence, manuscripts and orders should be addressed to:

GNOSIS, Box 86, 527 Riverside Drive, New York, N. Y. 10027

GNOSIS gratefully acknowledges the support of The Coordinating Council of Literary Magazines and The New York State Council of the Arts.

время "чисел"

Не всегда очевидные, но всегда безошибочные перемены свидетельствуют о появлении нового литературного пространства. Как выделить его признаки, обосновать его право на новизну, на новые критерии? Перелистывая "Поля Елисейские" В. Яновского, вчитываясь в обоснования "парижской ноты" Ходасевича, Адамовича, Варшавского, Терапиано — видишь русский Париж 30-ых годов — "цветок воздушный без корней" — яркий пример возникновения нового литературного поля. Рядом с уверенным парижским Петербургом и под его лучами, хотя и отталкиваясь от него и — вопреки ему, — на Монпарнасе без деклараций и манифестов появилось лохматое и разношерстное бездомное племя молодых литераторов. Это племя жило и писало вопреки тяжелому столичному респекту и авторитетам. Их зачеркивал русский Париж, им не позволяли быть литературные мэтры, но они встречались, говорили, думали, искали, писали.

Неудачники, "незамеченное поколение" выработали свой стиль — ту музыкальную ноту ("благополучие антимузыкально"), о которой Б. Поплавский писал: "Существует только одна парижская школа, одна метафизическая нота, все время растущая — торжественная, светлая и безнадежная" (Числа, 2,3 310-311).

Петербург был рядом — в тех же или соседних кафе, в картинно-столичной манере держаться и держать дистанцию. Он сыграл роль катализатора, с одной стороны, и, с другой, — препятствия, тормоза. Слишком поглощенный своей трагедией парижский Петербург их не видел, не принимал — что и помогло

им не заблудиться среди ампирного снобизма литературных салонов.

И новое мироощущение, новая атмосфера, которую они одновременно воспринимали "как почти существующую и... как еще никогда не бывшую" оформились самостоятельно. В "Числах", возникших между "Зелёной лампой" Мережковских и "Кругом" Фондаминского, воплотился опыт молодых русских парижан, характеризовавшийся обострённым ощущением катастрофы и напряжёнными медитациями о "цели жизни и смысле смерти" (Числа, 1, 5-6). Поэт Николай Оцуп с его абсолютным чутьем людей был Дягилевым "Чисел".

Литературный Петербург был их памятью, их родословной, парижским фоном, культурой и стилем. Но рядом были и люди из Ордена русской интеллигенции, сознательно работавшие с идеями эсхатологизма времени и его преодоления, — круг, обращенный к внешнему деланию, к поискам социального практического выхода, к счастью, сочетавший это с идеями внутреннего преодоления катастрофы в категориях христианской нравственности. Посему идея Нового Града, повернутая к "числовцам" своей внутренней эзотерической стороной, позже смогла стать местом общей встречи. И. Бунаков-Фондаминский был вдохновителем "Круга", человек, который умел распознать выражение глаз, занятых внутренней работой.

И — Париж, ошеломивший их своей литературой (Пруст, Жид, Бергсон, Жераду, Селин), но уже безнадежно далекий от того, чтобы быть центром "духовных поисков и непрерывных творческих достижений" (Ю. Фельзен, Новый Град, 11, 154), Париж вошел в них со всеми его сомнениями, с расшатываемой в нем "областью высшей культуры" и с победой "дешевых идей над интеллектуально-духовным бескорыстием". Встреча с изменившей себе Европой, это неожиданное отсутствие ожиданной Европы повернули их к себе, в себя. И все же "роман с Европой" состоялся, и они сделали своим воздух Парижа, который еще дышал тем, что из него ушло, и их "не могла не поразить неподдельная искренность тона, отсутствие эффектов и кра-

сот, серьезность жизненного подхода" французских писателей, — все, "что возникало также и в России..., но потом было заглушено..." (там же, 155).

Если Петербург дал монпарнасцам метафизическое беспокойство, то Франция в лице Бергсона и неокатоликов помогла им выбрать свой собственный путь, напомнив о социальном влиянии святости и предложив "одержимость идеей бедности" и принцип равенства — в отказе, а не в присвоении. Авторитет св. Францизска, популярного среди монпарнасцев, укрепил их в решимости отказаться от "рабства вещам" в пользу "легкой ноши".

Было ощущение, что они знают слишком много, чтобы хранить это в себе. Поплавский писал о "новом мистическом эоне", царившем на Монпарнасе и делавшем Париж "Ноевым ковчегом" для будущей России (Числа, 2-3 310). Рядом с бытовым христианством, христианством как национальным лозунгом у Поплавского развивался свой "роман с Богом" — христианство как путь, мистическая атмосфера, знак, ключи тайны, родственной другим великим тайнам. Поплавский говорил о конкретном духовном пути, в его поэзии надсадные следы этого конкретного опыта, — монашеского пути, стоицизм служения.

Поплавский называл православие "нищей релитией" (там же, 276) — "спасительной и нежной", в которой "софичность есть скорее тихое веяние, чем точно формулированная система... Софичность есть атмосфера, она живет в несказанной нежности песнопений, в кротком культе юродства и нищеты, в коленопреклонении, в молчании, в мистической темноте... Христос православный трости надломленной не переломит, он весь в жалости, всегда в слезах..." (Числа, 4, 276-7).

Говоря о литературе, Поплавский утверждал, что "литература есть аспект жалости", "огромная жалость..., сострадание..., внимание и любовь к жалкому и величественному хаосу человеческой души..." Он хотел через сочувствие, через готовность разделить страдание, войти в него, увеличив свою боль чужой болью, услышать музыку и смысл страдания: "Боль мира следует увеличить, чтобы сделать её сносной, боль-

мира должна быть непереносимой, чтобы ее можно было полюбить" (Числа, 4, 165).

Есть два классических пути искусства — один от догадок, смутных предчувствий, воспоминаний — к знанию, посвящению; другой путь вниз — от знания к воплощению. Вячеслав Иванов писал о воплощении, он работал с мифом, "астральным гиероглифом" истины, который даётся в храме поэту и музыканту, а те уже растолковывают его непосвященным.

Иной способ получения знания — через наитие, гадание, совпадение, дотадку, воспоминание. Путь В. Иванова отличался предзаданной уверенностью поступи. Путь Поплавского — на грани экзальтации, срыва, истерики. Верные догадки здесь граничат со случайными состояниями, нет уверенности, нет силы одолеть страх: "Как отвратительно иллюминанту, очнувшемуся от "припадка реальности", открывать глаза на нереальное, видеть комнату, чувствовать усталость и холод, опять погружаться в страх" (Числа, 4, 161).

Простой пример — тема милосердия. По В. Иванову, теург и мистагог дают бедному брату своему столько, сколько тот способен вместить, они вносят соразмерность в умы и представления, протягивают руку растеряной и заблудшей овце. Монпарнасцы идут к страдающему, охваченные жалостью, милосердием, "жалостью в форме всякого участия", когда "парад Армии Спасения стоит всего Лувра" (Б. Поплавский). Монпарнасцы услышали в христианстве музыку погибания, атмосферу крушения: "блажен, кто посетил сей мир..." Параллели гибнущих цивилизаций питали их мысль. Федотов писал: "Убив Бога, человечество, совершило самоубийство. И в смертном приговоре культуре гора Афон странным образом перекликается с горой Парнасом" (Числа, 4, 144). Мережковский в это же время работал с идеей Атлантиды и Европы, вдумывался в судьбу погибшей цивилизации.

Соблазн несчастья был так велик, что даже Федотов с его несомневающейся позицией не мог не заразиться им: "Мы..., униженные и обнищавшие вконец (прав Б. Поплавский), оказываемся в лучших условиях, чтобы ловить радиоволны с гибнущего Титаника".

Федотов сводит проблематику "Чисел" к опробованным категориям: культура, смерть, декадентство, — не беря на себя труда увидеть что-то кроме того в опыте новых "пустынножителей" ("Корабли сжигаются. Искатели покидают берег, удаляясь в пустыню" (там же, 144). "Свою жизненность "числовцы" доказывают волей к смерти, свое рождение на Парнасе — отрицанием культуры". "В старое время это называлось декадентством" (там же, 134), — пишет Федотов. С выбранных им привычных точек отсчета, он ожиданно возражает: если взрыв культуры — то что вместо культуры? если смерть — то как буддийский покой, нирвана или как христианское преображение, воскрешение? "И я боюсь — хотя и хотел бы ошибиться — что тема смерти оборачивается в "Числах" темой нирваны", — заключает Федотов.

Здесь сталкиваются местническое охранительство, склонное отрицать все "чужое" (в нирване Федотов знает только экзотерический негативизм, игнорируя её трансцендентную позитивность) с доверием к личному опыту. Лишенные почвы вчеращние гимназисты в высокогорной разряженной атмосфере Монгарнаса, веря в абсолютную реальность духовных усилий, отважились на личную встречу с "неизбежным", на "роман с Богом".

На недоверие Федотова Поплавский ответил своими дневниками, опубликованными через несколько лет после его смерти, той беспощадностью самонаблюдений, отчаяния и молитв, которые можно сравнить с открывающимися в дневниках Толстого, Чаадаева, Блока:

"Господи, Господи, один Ты знаешь, как темно, как невыносимо утомительно ползут дни, и как редко приходит ответ, и всё само льется, раскрывается, несется в сердце... и в какой камень оно смерзается день за днем".

"Долгая бесплодная молитва, наполовину наяву, наполовину во сне. Вдруг, когда я уже отчаявшись, бросил её... привело к почти нестерпимому, до слез реальному ощущению присутствия Христа".

"Поэзия есть способ... сделать насильно милым Бога".

"Любовь и смерть — два основных момента постижения чистого времени". Смерть — расточение и исчезновение времени, а любовь — спасение времени для качественной вечности.

Монпарнасцы добровольно поставили себя в нравственные условия, которые необходимы для видения "сквозящих через действительность" мыслей, они сознательно предпочли "абсолютную бедность, абсолютную чистоту, абсолютную любовь, указанные в Нагорной проповеди". Ощущение исчерпанности, разоблаченности, "обличенности" мира не нуждалось в обоснованиях. Позднее на встречах в "Круге" это время называли "эпохой, когда человек стоит у подножия креста..., когда человечество дышит страданием, и Голгофа становится единственным местом, на котором может быть человеческая душа" (Мать Мария Скобцова, Новый Град, 13, 146).

Вырванные из исторической канвы, монпарнасцы оказались лицом к лицу с — мечта западников со времен Петра — Европой. Их индивидуальная судьба здесь стала почвой идей — они оказались на перекрестке традиций. Монпарнасцы увидели наложение собственной трагедии на традицию, подчеркнувшее те её стороны, которые совпадали с линиями их судеб. Они искали одного — "движения от внешнего к внутреннему, от периферии к центру. Центр жизни находится всюду, хотя он один" (Б. Поплавский, Возрождение, 165, 36).

Эти "западники", оказавшиеся в сердце Запада, в Париже, в 30-ые годы еще считавшемся средоточием европейской культуры и искушенности, упорно исповедовали западничество, вопреки собственным нищете и раздавленности. И в то же время в них открылась гиперболизированная русская жалостливость, фатализм — жалость к высшему себе. Они поверили своей судьбе, и в ней и через нее услышали оптимальную для них возможность "пробиться к Реальности, к Богу" (там же, 29). Найденную ими духовную реальность одни критики, не умея иначе объяснить, называли "средневековым миросозерцанием", другие — восточным дуализ-

мом в духе Маркиона (Варшавский), третьи — буддизмом (Федотов, Степун).

"В метафизическом надрыве одинокого умствования" монпарнасцы вышли к слышанию духа времени и задач времени, к осознанию связи литературы с ведущей миросозерцательной темой эпохи, с "душой эпохи". Символисты задали им стремление к религиозному символу, отношение к мифу как носителю творческой энергии.

Они продолжили старый спор с плотностью и самодостаточностью национально-лапотного мировосприятия, противопоставив ему "великодержавность" Духа.

Не закоснев на провинциальной идее собственной исключительности и не спекулируя своими нищетой, задавленностью, юродством, монпарнасцы услышали важность работы с идеей времени — приближения пласта полноты времен, когда уже на пороге Дух-утешитель. И идея Третьего часа — времени Духа Святого, — прозвучала на Монпарнасе.

Через углубление своего "я" до встречи со "сверх-я", через уединенное служение — они увидели универсальность духовного служения, "единую проекцию для всех душевных исканий". "С остротой неведомой европейцам"" (Фельзен), они вышли к жалости, состраданию, любви как единственным действенным средствам преобразования жизни.

Сострадание подвижников становится религией у писателя-монпарнасца В. Яновского: "Наша проповедь — милосердие: немедленное, бесплановое, насущное, мудрое вмешательство". За этими словами — понимание онтологичности сострадания: "Давая нищему медяк, все знают: явная помощь равна грошу. Но те, что видят..., те вдруг слышат тихий благовест; они обоняют запах возможного здема, умиленные, что-то в них расцветает". (Портативное бессмертие).

Сострадание у монпарнасцев — не мистический сентиментализм, как у Достоевского, а — вызов отчаяния, подвиг безнадежности. Их жалость была не духовной розовой водицей, а последней ставкой совестливого человека, понимающего, что миру больше не на что рассчитывать. Эти идеи духовного рыцарства —

Ордена интеллигенции или Круга у Бунакова-Фондаминского — приняли у В. Яновского черты нового монашеского ордена, идеального содружества.

Соучастие в несчастьи мира было главным нервом мироощущения монпарнасцев. В своем восхождении по обнаженному стержню страдания одни из них, чтобы понять природу зла, обращались к прамифу, гностическому знанию о сотворении мира вопреки высшей Воле: "Бог не создал мира, не хотел создавать его. Мир "вырвался" к бытию против его воли, из его полноты, рискнул... И вот... Смерть непобедима, несчастья и страдания неустранимы . . . и всякое "вперед" есть только дальнейший прыжок в пустоту" (Числа. 2, 174). Это духовное упражнение для сомневающихся. — пишет Адамович в своих "Комментариях", — "опровергается только изнутри, не умом, а . . . согласием со всей жизнью, "солидарностью" с ней до тех её слоев, которые невозможно заподозрить в своеволии" (там же, 175). Поплавский работает с мифом о двойственности всего творения: "Слово, витая еще над первозданными водами, обдумывая прототипы всех грядущих вещей, так кажпый человек двойственен: человек — отражение, живущий и гибнущий, и человек — идея в Божественном разуме, которая никогда вполне не рождается, но которую ржа не поедает" (Числа, 4, 166-167). За этим обращением к гностическим мифам — стремление монпарнасцев услышать истину как диалог, вглядеться в истоки христианства, увидеть истину лицом к лицу.

Они погружались в пласты сознания, в планы существования, рассчитывая (надеясь) выйти к реальности, непосредственно граничащей с Богом. Следуя Сюаресу, они видели в искусстве "вертикальный колодец, прорезающий сотни разных толщин, соединяя их, колодец, роемый до неисчерпаемой общей воды, до той последней глубины, где каждый творит свою незаменимую цельность, где он становится единицей и всем, тайной и удивлением". (Числа, 1, 205 — Отрывки из манифеста).

Мистическое напряжение: самоограничение, онказ от внешнего, опыт личного откровения — питало русскую парижскую литературу. Литературное поле — спутник духовной концентрации, личного переживания тех реалий, которые философ воспринимает как мысленные сущности. Аскетизм "русских мальчиков" (а, как справедливо заметил Федотов, художественная аскеза иная, нежели аскеза святости) дал тот прекрасный свет, которым, жила "парижская мистическая нота".

В разговорах на Монтарнасе, "бескорыстно, бесплатно, безнадежно свободно", рождались собственные темы и логика, напряженное стремление к духовной действенности и "научению от Духа". Особая логика Монпарнаса была порождением чистоты и жертвенности неофитов: "им прекрасно себя не щадить", — и "среди святых, которые уже решились, уже прыгнули, уже оторвались и все потеряли, на дне, на заре новой жизни..., дружба с Богом", свобода..." (Числа, 2-3, 310-311) — они искали нового имени Бога, мира и человека — потому что "православие только что раскрывается" (311). Через самоиспытание, самовопрошание, рефлексию они выходили к идеям памяти, времени, первопричины. Возвращение к единству, преодоление "первичного распада Единого" (там же, 311), борьба с пространством и разлучением лежали в основе их метафизического пафоса. Интеллектуальное творческое напряжение Монпарнаса держалось на этом пафосе, определявшем характер созданного ими метафизико-литературного пространства.

Монпарнасцы жили в двух равноправных слоях культуры — французской и русской, — углублявших и уточнявших одна другую, двух сосуществовавших временах — русском прошлом и парижском настоящем. Идея двух времен, двух памятей была для них не умозрительной абстракцией, а выражением сложного многоракурсного опыта, который вывел их к идее иного порядка — вертикальной памяти, Протопамяти, Святой Софии, премудрости Божией, связанной с распятым Логосом. (В. Яновский).

В центре довоенного Парижа в угадывании неизбежности европейской катастрофы они жили идеей нравственного закона сострадания через прозрение в таинство всемирного распятия и мирового соучастия в

страдании и любви — через самоотдачу и крест. В то время, как люди, не различающие качества идей, сводили все к уже известному, на стыке "внутреннего Круга" И. Фондаминского и Монпарнаса разрабатывалась практика духовного делания, создавался устав нового содружества для нравственного возрождения человечества. (В. Яновский. Портативное бессмертие), практиковалось активное вмешательство в мир в виде ли сострадания, чуда помощи — наращения баланса добра вопреки разгулу низких стихий — духовного рыцарства, принимавшего на себя грехи и несовершенство мира, или же через погружение в экстатические прозрения, "припадки реальности", полноту знания и времен (Б. Поплавский).

Обостренное переживание катастрофы дало им слышание того, не затрагиваемого внешними обстоятельствами, "средоточия бытия" в душе человека, где, по словам Поплавского, "находится величайшая радость, его личное, никому не передаваемое общение человека с Богом". За этой постановкой вопроса безусловное знакомство с отцами церкви и, возможно, с Киреевским. Это то, что антропософия называла "духовным телом" человека, П. Д. Успенский — "сущностью", а Киреевский — "средоточием бытия", тот материк, та реальность, к которым ведет лишь "тоска по ноуменальным вещам" (Варшавский, Числа, 3, 221). Монпарнасцы знали эту реальность и по теософской, и антропософской литературе, так же как и по трудам П. Д. Успенского, Анни Безант и, конечно, Папюса.

Интерес к этой реальности они видели и у наиболее серьезных французских авторов. В. Варшавский на страницах "Чисел" излагает концепцию Андре Жида о трех уровнях души с "нижней, самой глубокой", внутренней, через которую возможен "путь спасения, путь возвращения в рай, в реальную и абсолютную жизнь, "в радость Господина Твоего" (Числа, 4, 218).

Трагическое стремление "из пустоты в реальную жизнь", о котором пишет В. Варшавский, было созвучно "Числам", знающим "холодное отчаяние человеческого ума перед невозможностью найти дверь в жизнь, перед неизвестностью, где находится дерево жизни".

Журнал искал знания, которое становится частью, аспектом этой реальности и выхода из "фантастической социальной пустоты", окружавшей монпарнасцев. Оттолкнуещись от нее, монпарнасцы не сделали её, вслед за Чеховым и Буниным, метафизической пустотой, а смогли обратить в преимущество, в свой путь знания. Их осознание внутренней ответственности за состояние мира, идея Бога как друга ("Христос и его знакомые") и дружбы как нравственных и творческих усилий круга людей, противостоящих состоянию массового сна и отождествления — звучат особенно современно.

Парижская метафизическая нота — "торжественная, светлая и безнадежная" — не погибла без отзвука. "Разрушители культуры" оказались самым современным и творческим наследием русского Запада по стремлению к святости, горячечной мечтательности и духовным поискам "Коментарии" Адамовича; философские размышления, проза и стихи Поплавского, интеллектуальные схоластика и напор Мережковского, прустовский психологизм Фельзена, пластическая и уверенная манера Яновского, затягивающая доверительность негромкого говорка Ремизова, холодноватая киплинговская поза Газданова, стоицизм Гингера, словесная щедрость прозы Шаршуна, лаконизм Штейгера, интимность Червинской, лирические вспышки Дряхлова, Заковича, Ставрова, саркастическое бормотание Мамченко — таков Париж монпарнасцев "Чисел". Тут и напряженная вынесенность вперед, и неуверенность, стиль синтеза, поисков, поднимающийся "над уровнем художественного чтения" и переходящий в область религиозных исканий ("исканий, а не установившихся..., утвержденных и рекомендованных норм" — (Г. Иванов Числа, 5, 149), и готовность Мережковского "не быть сейчас с надеждой быть потом" (вспомним просьбу Б. Поплавского опубликовать его стихи через 30 лет), и рядом культурный фон Парижа: проблемная хроника из художественных галерей, статьи о современных музыке, театре, кинематоrpache.

Отчаянный риск "Чисел", нарушение привычного, ожиданного, нервичность и дерзость порыва особенно

значительны в контрасте с собирательным образом русского парижского читателя — воплощенного испуга и консерватизма, ожившего, по словам Г. Иванова, приложения к "Ниве". ("Без читателя", **Числа**, 5, 150).

В "Числах" был зафиксирован парижский русский язык с его искусственностью и искусностью, бездыханностью и вторым дыханием, он — словно паутина, которую сам из себя ткет паук. Язык искушенный, многословный и неяркий, текучий и обволакивающий, как бы высвечивающий внутренние контуры.

Литература монпарнасцев по разработанности поля нюансов, параллельных и переплетенных смыслов, душевных силуэтов, по полной сосредоточенности на главном — на "направлении: от внешнего к внутреннему, от периферии к центру" — сделала что было в её силах для создания традиции западной русской литературы. Гибель этого творения от нашествия "готентотов" — это уже не их вина — так распорядилось время.

В "Числах" создавался живой синтез с постоянным развитием идей. При напоре художественного Парижа была сохранена "черта незаменимости", исключительности, не сводившая русскую литературу на Западе к французской или какой-либо иной. "Числа" стали местом встречи, умного общения, при котором "приобретают сверх того, чем каждый порознь обладал".

Как в философском городе Платона, они исключили из поля зрения вопросы экономики и распределения и никогда не рассматривали себя в связи с этими вопросами. Они пытались достичь чистоты общения, уточнявшего их слух, углублявшего метафизическую ноту, создававшего свой стиль, свою культуру. После разговора с Поплавским, по словам В. Яновского, хотелось создать новую метафизическую концепцию. Это был "Рай и Царство друзей", товоря словами Поплавского. И если искать знакомых ассоциаций, то время "Чисел" можно сравнить со временем Царскосельского лицея — те же незащищенность, искренность, свет и безоглядная преданность стихам, дружбе, идеям, когда не перед кем и незачем лгать, — со своими Б. Поплав-

ским, Ю. Фельзеном, С. Шаршуном, В. Яновским, А. Гингером — то же "прекрасное начало", смысл которого начинает быть слышен в полную меру только сейчас.

"Числа" отмерили свое время в русской литературе, и русская литература уже поверяется временем "Чисел".

Tymas dega - egynda Cymas dega- korebre n Pajopun u guden Con une codemben Rorga guarens bre mans

необыкновенное десятилетие

(запись интервью с В. Яновским)

Я родился на Полтавщине. В начале 20-ых годов ребенком я оставил Советский Союз и уехал во Францию. Я окончил медицинский факультет в Париже, я — доктор медицины. Всю взрослую жизнь я работал как доктор медицины. В 1942 году я переехал в Соединенные Штаты Америки.

Я все время писал. Я начал писать восемнадцатилетним мальчиком. Моя первая книга "Колесо" — подразумевается колесо революции — была написана восемнадцати-девятнадцати лет, а вышла в 1929 году в издательстве "Новые писатели". Осоргин Михаил Андреевич создал это издательство. Первая книга, выпущенная ими, была книга Болдырева, очень талантливого писателя, ученика Ремизова, он умер совсем молодым. Второй была моя книга.

Потом я издал "Мир" — роман, "Любовь вторую" — парижскую повесть, которая переводилась на многие языки. "Колесо" тоже вышло по-французски. Потом я написал большой роман "Портативное бессмертие". Это, может быть, самая значительная моя вещь. Она печаталась отрывками в парижских журналах, но отдельным изданием вышла только в Нью-Йорке в Чеховском издательстве. После этого был "Американский опыт". Это были мои первые годы в Америке. Я был потрясен Америкой во всех смыслах — и в хорошем, и в дурном — что выразилось в этой книге. Она не могла быть напечатана отдельной книгой до сих пор, но она целиком печаталась в "Новом журнале". Потом я написал книгу "Заложник" — о, так сказать, заложниках добра, les hommes de bonne volonto, людях доброй

воли. Мы — заложники, я причисляю себя к ним. Отрывки из этого романа также печатались в "Новом журнале", но не целиком. После этого я написал еще два романа по-русски, но они никогда не могли выйти при условиях нашего рынка и при полном отсутствии культурного, интеллитентного читателя. У нас есть довольно много культурных писателей, но читателей у нас нет.

Сейчас мои книги негде печатать, никто не хочет их печатать. Я мот бы напечатать их на собственный счет, но у нас нет читателей, и тогда получается абсурд. А что касается американцев — я совсем не в их духе, не в их потоке. Они крутят этот объект или субъект, который я фабрикую, они сомневаются, роман ли это, рассказ ли это, то, что я пишу, что с ним делать, есть ли его, нюхать ли? Но все же они издают мои книги. В русской среде у меня никогда не было таких неприятностей — все знали, что это роман, что это литература.

Я принадлежу к русским мальчикам, идеалистической молодежи с седыми висками, которая готова еще бороться и бунтовать и мечтает о каких-то идеальных условиях жизни. Да, я с ними связан и для них пишу — я думаю, только они могли бы с удовольствием меня читать и ценить.

"Челюсть эмигранта" — это рассказ об эмигранте. Каждый раз, когда он теряет зуб, он вспоминает, при каких обстоятельствах ему выдергивали этот зуб. И так проходит целая жизнь, и в последней главе ему будто бы возвращаются эти зубы, у него какое-то видение, во время легкого паралича он видит всех людей, которых потерял в жизни, все ключи своих комнат, в которых он жил, и все зубы, которые ему выдергивали. В каком-то плане ему это все возвращается. Там у меня есть разделение между линейной и вертикальной памятью. Эту мысль оценил Ф. Степун. Федор Степун был очень интересный человек, философ, друг Андрея Белого, и эта моя вертикальная память его очень заинтересовала. Он писал о ней в "Новом журнале".

Линейная память — это то, что связано с ассоциациями непосредственно. Вы видите, например, красный цветок, и вы вспоминаете красное бальное платье, скажем, любимой девушки. Это все линейная память, которая никуда не ведет. В общем, это память Пруста, связанная с ассоциациями. Конечно, он "выпрыгивал" из них, он всегда старался сопоставлять вещи из разных планов, и это главная заслуга Пруста, который нам объяснил, что только если сравнить метафоры разных планов, как, скажем, яблоко и закон Ньютона, если сопоставляются какие-либо явления из разных планов, что-то новое из этого выходит. А если сравнение в том же плане, ничего нового не получается.

Вертикальная память — это тоже память ассоциативная, но ассоциации здесь из какой-то тайной, оккультной жизни, которую душа вела, может быть, до настоящего существования. Мне не хочется входить в вульгарные теософские сферы, и я не об этом говорил и думал, но я считаю, что есть какое-то воспоминание, как бы сказать, начальное воспоминание, то, что я называю Протопамятью. Где-то у меня сказано, что Протобог создал Протомир из Протопамяти. Память — это София, святая София, Премудрость Божья, в конце концов, связанная с Логосом.

Вы не должны удивляться, что я об этом говорю, потому что мы этим жили. Во всяком случае, писатели парижской группы, встречаясь на Saint Michel, начинали разговор о блаженном Августине. Влаженный Августин приехал в Рим из Карфагена студентом римского права и купил себе рабыню, и с этого момента началось, в общем, его падение, а потом, скажем, воскресение. Я приехал в Париж тоже, может быть, из Карфагена, и я тоже покупал себе рабынь и тоже чувствовал себя падшим, мы все проходили этим путем, и для нас это была реальность, а не какой-то "опий для народа" и всякая другая чепуха. И мы жили этим, и из этого вышла, в каком-то смысле, замечательная культура, носившая отпечаток одного стиля. Без стиля нельзя создавать культуру.

Культура всегда имеет стиль, и у нас был свой стиль, который можно было в первую минуту распознать, шел ли человек из тех же источников или совсем других, чуждых нам.

Самым удачным, самым талантливым в смысле оригинальности, с ветром гениальности вокрут был Борис Юлианович Поплавский. Он, конечно, прежде всего, поэт, но он также писал статьи и романы. И некоторые страницы его романов выше, чем у Набокова — чемпиона романов. Набоков на семь лет старше меня и, конечно, очень талантлив, но, я думаю, что отдельные страницы прозы Поплавского несравненно лучше набоковской прозы. Набоков часто отдельвается шуткой, иронией, сатирой — это очень легко высмеять несчастного падшего человека, а вот увидеть, как Поплавский, "святые головы людей", мне кажется, трудно. Надо преодолеть очень много боли и конструктивно преодолеть, чтобы прийти к такому образу — святые головы людские.

Шаршун был художником; опять-таки, как я — медициной, Поплавский — стихами, он занимался живописью. Его полотна продаются по очень большой цене. Но его романы — это, в общем, наивные романы, что называется, примитивы. Хотя мне кажется, в них есть своеобразная прелесть.

Ещё был у нас Газданов. Это был блестящий писатель словесный, скажем, внешний, но, мне кажется, без определённой глубокой темы. Ведь это очень важно, чтобы кроме фона, была и своя тема, обычно это идёт одно с другим. Я верю, что надо так писать, чтобы не замечалась форма. Если вы замечаете форму, если вы говорите: ах, как плохо написано, — это плохо; если вы говорите: ах, как чудно написано, — это тоже плохо. Вы должны освободиться полностью, чтобы прийти к содержанию, чтобы сделать видимым невидимое — в этом, так сказать, мой завет искусства. И подобное же в религии, науке, живописи, музыке — во всём надо стремиться открыть пласты, которые закрыты, скажем, одеждой или вуалью, — это есть у Бергсона — открыть завесы, тяжёлые, непроницаемые завесы, которые закрывают мир сверху. До него апостол Павел сказал: "Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу" — увидеть при вспышке мгновенной какой-то молнии гениальности в окружающей тьме то, что неразличимо для простого глаза и пошляков.

На днях у меня выходит книга по философии науки, она называется "Медицина, наука и жизнь", там я высказываю некоторые свои основные идеи о раскрытии сущности, о прорыве завесы и стараюсь ввести постквантовую физику в гуманитарные науки. Так же, как Нилс Бор установил, что материя — это зерно, частица и волна и — не зерно, и не волна, а еще что-то третье, — неужели это не звучит точно как Символ веры, что Троица, Святая Троица едина и неделима, и в то же время неслиянна? И теперь уже ясно, что все наши творческие функции соединены в одно. Наша старая борьба за единое поле энергии становится конкретной. Эта книга написана по-английски. Отрывки из нее печатались в русском журнале в Париже.

Кроме того, у меня написана книга воспоминаний "Поля Елисейские" о тридцатых годах в Париже — Бердяев, Бунин, Федотов, Фондаминский, мать Мария, Вильде — мой друг, ну не друг, а, в общем, сокашник, мы вместе жили, вместе ели, вместе фотографировались, вместе участвовали в собраниях. Теперь есть улица Вильде в Париже.

Это поколение, это десятилетие — необыкновенные. Если вам известно, Анненков написал "Необыкновенное десятилетие" — о Белинском, Герцене, Некрасове. Я бы мог назвать свою книгу тоже "Необыкновенным десятилетием", до чего были замечательные, творчески настроенные во всем люди в то время. Недавно скончался Варшавский. Я должен его назвать тоже — он был честным писателем.

Мое поколение — это поколение людей, которые родились с таким рассчетом, что они не могли принять участие в войне: я имею в виду и в Первой войне, и в Гражданской. Мы были слишком молоды. Скажем, в 1917-18 годах нам было 12-13 лет. Вот это поколение, которое не могло исчерпать себя в войне и пережило все, что связано с войной, и потом смогло включиться в Запад, полюбить его. Мы стали европейцами, мы оценили эти камни, и они не были для нас мертвыми, и

мы простили Западу его скупость или, не знаю, ограниченность, то, что Герцен никогда не мог простить.

Мы это простили ему, благодаря чувству свободы, которую мы обрели здесь. И эта свобода не только паспортная, и не только потому, что мы не должны отвечать на вопросы: "Сколько вам лет?", не только то, что
вы можете, подобно прицу Уэльскому, проезжать по
Франции инкогнито или, как Андре Жид, прописываться в отелях под чужими именами. Но кроме того, это
какой-то воздух свободы, который так потрясающ для
русской души и, в то же время, кажется нам родственным. Почему он нам родственен, я понять не могу, потому что никогда ничего подобного не было и, вероятно, не будет на великой Святой Руси.

АВАНТЮРИСТ

Одной из загадок, связанных с жизнью Эдгара По, является его действительное или мнимое пребывание в Санкт-Петербурге в 1829 году. Сам По в своей автобиографии совершенно определённо заявляет об этом и даже ссылается на американского консула в Петербурге Г. Миддлтона, который будто бы вызволил его из "затруднительного положения". Однако биографы По с неменьшей определённостью утверждают, что он в это время находился в Америке.

Неудивительно, что даже тень факта посещения знаменитым писателем-романтиком России (где он имел немало верных поклонников от Ф. Достоевского до А. Грина) породила своего рода литературу.

И примечательно, что тень факта подкрепилась как будто и тенью документа. Поэт Владимир Пяст утверждал в своих мемуарах "Встречи" (1929 г.), ссылаясь на известного футуриста доктора Н. И. Кульбина (оба не были, кажется, склонны к мистификациям), что в сгоревшем во время Февральской революции архиве казанской полицейской части Петербурга имелась запись о задержании "в участке Казанской части близ узкого верховья реки (то бишь Офицерской улицы), втекающей в морские ворота Невы" американского гражданина Эдгара Аллана По. Ленинградский писатель Леонид Борисов, опираясь на эту версию, опубликовал рассказ "Драгоценный груз" (1959 г.), где в присущей ему своеобразной манере развернул этот эпизод.

И вот ещё одна попытка известного эмигрантского писателя Гайто Газданова, принадлежавшего (как и

Л. Борисов) к неоромантической линии русской прозы, и навелнная, очевидно, теми же мемуарами Пяста.

Леонид Чертков

Анна Сергеевна уехала с бала опять, как и третьего дня, не дождавшись конца третьего или четвёртого танца, — и снова на вопросы о том, что её побуждает к такому раннему уходу, не знала, что ответить. Действительно, никаких особенных причин к этому, казалось, быть не могло. Она по-прежнему любила танцы и боялась одиночества, по-прежнему ни одно более или менее значительное событие тогдашней петербургской жизни не обходилось без её косвенного участия, — но всё это в последнее время не то чтобы потеряло для Анны Сергеевны интерес, но стало рядом давно известных привычек, без которых она не могла бы, пожалуй, обойтись, но которые сами по себе не могли всецело заполнить её общирные досуги и удовлетворить постоянное и смутное ожидание чего-то, что, может быть, когда-нибудь случится. Когда и как — Анна Сергеевна себе этого не представляла. Давно, много времени тому назад, она думала, что это откроется ей тогда, когда она выйдет замуж; затем она считала, что брак обманул её ожидания и что настоящая её страсть — искусство; потом она полагала, что и её мужа, и её дилетантские занятия литературой и музыкой ей заменит поручик Соколов; но и поручик Соколов при более близком знакомстве оказался неинтересным. Месяц тому назад второй счастливый её поклонник, новый секретарь её мужа, уехал вместе с ним за границу — и Анна Сергеевна думала сначала, что ей будет трудно обойтись без его почти постоянного присутствия, его шуток, стихов и французских комплиментов и перестать чувствовать его необъяснимую притягательность, которой она не могла сопротивляться; но уже через неделю она перестала об этом думать. Она не слишком много обо всём этом размышляла, не желая себе портить кровь, но беспричинное её ожидание сопровождало её всегда и было не менее неприятно, чем распоровшийся край платья или плохо держащаяся на коже пудра.

Она медленно ехала по городу, были тишина и мороз и изредка было слышно, как трещал и звенел снег. Кучер сидел неподвижной глыбой на козлах, лошадь шла почти шагом; ветра почти не было, улицы были белые и пустые. Но вот проезжая мимо горбатого моста, за которым точно врезался в снег и низкое небо длинный фантастический ряд каменных домов, Анна Сергеевна увидела на тротуарной тумбе человека с поднятым воротником шубы. Он сипел не шевелясь, глубоко погрузив голову в воротник и не глядя перед собой и в первый момент ей даже показалось, что человек заснул, но потом она вдруг почувствовала, что он не спит, — и она не сумела бы объяснить, почему именно она это узнала: в позе сидящего ничего не изменилось. Странное желание взглянуть поближе на этого человека вдруг пришло в голову Анне Сергеевне. Она велела кучеру остановиться, вышла из саней и направилась к тумбе. Подходя ближе, она стала как-то неуверенно шагать и тотчас же подумала, что человек пристально смотрит на её ноги. Она всё же подощла к нему вплотную и изменённым от долгого молчания голосом спросила:

— Что вы здесь делаете?

Он поднял голову, и Анна Сергеевна широко открыла глаза: ей ещё никогда не приходилось видеть такого лица. Человек был необычайно красив, с удивительно правильными чертами безукоризненно овального лица; но не это поразило Анну Сергеевну, а скорее выражение его — неуловимо ненормальное, почти сумасшедшее, непостижимо как не искажающее это классическое лицо.

На вопрос Анны Сергеевны он ничего не ответил, только улыбнулся и слегка пожал плечами.

- Вы не хотите отвечать? с внезапным гневом сказала Анна Сергеевна. Тогда он посмотрел на неё с удивлением. "Может быть, он иностранец", подумала Анна Сергеевна и сказала неуверенно:
 - Да вы понимаете по-русски?
- Ньет, отчётливо ответил высокий мужской голос.

- На каком же языке вы говорите? спросила Анна Сергеевна по-французски. Как странно, говорила она себе, не говорит по-русски, сидит здесь один ночью кто это может быть? Aventurier?
- Если вы хотите говорить по-французски, я буду счастлив, ответил он. По-французски он говорил быстро и правильно, но слишком отчётливо произнося слова и вкладывая в них ту почти неуловимую металлилическую интонацию, которая всегда отличает речь француза от речи иностранца, знающего язык, может быть, лучше, чем он. Анна Сергеевна, впрочем, не обратила на это внимания.
 - Что же вы здесь делаете? повторила она.
- Я сижу и смотрю и время от времени закрываю глаза, чтобы лучше запомнить то, что я вижу. Знаете, внезапно поднимая голос, сказал он, не думали ли вы, глядя вокруг себя ночью в Петербурге, не думали ли вы, что конец мира, когда он наступит, будет очень похож на это? Мне не кажется, что произойдёт катастрофа или землетрясение и потоп; нет, наши потомки будут просто замерзать и вот так же глядеть на прекрасные здания, погружённые в белизну и звон снега, как мы с вами смотрим на это сейчас. Я завтра уезжаю из Петербурга, сказал он без всякой связи с предыдущим.

Анна Сергеевна не сразу ответила иностранцу — его голос и слова, которые он говорил, показались ей вдруг почему-то соответствующими ночной улице Петербурга, покрытой слежавшимся снегом и чёрными зданиями, застывшему на козлах кучеру и неподвижной лошади, казавшейся чёрной статуей, и всей этой странной и случайной встрече. Она молчала, задумавшись внезапно, и точно в привычном ходе её мысли и ощущения произошла неожиданная остановка. Потом она взглянула на своего собеседника: он стоял, немного согнувшись, засунув руки в карманы и смотрел прямо перед собой напряжёнными глазами, которые, казалось, втягивали в себя всё, что их окружало. Странная вертикальная морщина пересекала его блестящий на морозе лоб.

— А что вы собираетесь делать сейчас? — спросила

Анна Сергеевна. Он закашлялся, засмеялся и с улыбкой ответил:

- Я поеду к вам в гости, если вы ничего не имеете против этого. Не сердитесь на меня, сказал он, заметив, как нахмурилась Анна Сергеевна. Если вы не хотите этого, я пожелаю вам счастья и буду ждать здесь утра без вас.
- Авантюрист, подумала опять Анна Сергеевна. Впрочем, впрочем его можно пригласить в гости.
- Прекрасно, сказала она. Я приглашаю вас в гости. Теперь время не для визитов, но вы ведь завтра уезжаете, и мы с вами больше не увидимся.
 - Никогда, твёрдо сказал авантюрист.
 - Никогда? Вы совершенно в этом уверены?
- Я это знаю. Но, впрочем, может быть, вы предпочитаете говорить об этом у вас дома. Мне очень холодно, — сказал он с неожиданной почти детской интонацией.

И они поехали. Мимо них быстро двигались дома, проехало огромное здание Инженерного замка, в стороне врезались в морозный воздух и исчезли тяжёлые линии Зимнего дворца, проскользнула широкая лента льда под мостом, и, наконец, кучер остановил взмыленную лошадь перед одним из невысоких домов Сергиевской улицы.

— Мы приехали, — сказала Анна Сергеевна.

Он вылез из саней и помог ей выйти: тяжёлая дверь тотчас же открылась, и они очутились в передней, где спал двенадцатилетний казачок, открыв рот и невольно изображая на детском бледном лице выражение искреннего недоумения.

- Вася, тихо сказала Анна Сергеевна улыбнувшись. Вася, повторила она, когда перепуганный казачок вскочил с узкого диванчика, на котором лежал, чему ты, голубчик, удивился? Что тебе приснилось? А?
- Простите, матушка, сказал мальчик неожиданно решительным голосом, — задремал.
- Ну, иди, голубчик, ласково сказала Анна Сергеевна, Только сними с барина шубу раньше.
 - Извините меня, сказала она опять по-фран-

цузски, обратившись к авантюристу, — я сейчас. Не хотите ли пройти в гостиную?

- Экскюзэ, с одобрением прошептал казачок. И потом сняв шубу с барина, сказал уже вслух с вопросительной интонацией Экскюзэ?
- Да-да, сказал авантюрист улыбаясь и гладя мальчика по голове. Allez.

Он уже сидел на диване и рассматривал быстрым и тонким взглядом старинные картины на стенах, освещённые пламенем больших свечей, зажжённых в гостиной, и потому казавшиеся более мрачными, нежели они были при дневном свете, — когда вошла Анна Сергеевна, оставшаяся в своём бальном, очень открытом платье. Свет свечей бежал и струился по её плечам и груди. Она села в кресло напротив своего гостя и доверчиво сказала:

— А я вас принимала за авантюриста. Но вы авантюрист, у которого, по крайней мере, я нахожу одно достоинство: вы не похожи на других.

Теперь, когда он снял шубу, он показался похудевшим, но его красота от этого ещё выиграла. На минуту Анна Сергеевна подумала, что он не похож на живого человека, что изумительное совершенство этого лица, скорее, было бы свойственно статуе или картине.

- Я думаю, что вы не очень далеки от истины, сказал гость. Если хотите, я авантюрист. Но я не злоумышленник, во всяком случае.
- О, этого вы могли бы не говорить, сказала, улыбаясь, Анна Сергеевна. У злоумышленника такого лица быть не может. Вы очень добры, наверное. И всё же в вас есть что-то неприятное, прибавила она с беззащитной откровенностью.

Он взял её руки, и уже это одно прикосновение, с неуловимой быстротой распространившееся по всей коже Анны Сергеевны, сразу заставило её почувствовать необъяснимую власть авантюриста над ней. У неё даже несколько изменилось лицо, приняв на секунду искажённое и несвойственное напряжённое выражение.

— Какая прекрасная гибкость восприятия, — медленно и точно про себя сказал авантюрист. — Как хорошо. У вас чисто русская кровь в жилах? — спросил

- он. Я бы этому очень удивился. Я вижу какую-то тёмную полосу. У вас в роду все русские?
- Нет, сказала Анна Сергеевна удивившись, нет. Мой дед сын норвежца и итальянки.
- Это самое исступлённое соединение, сказал гость. Самые исступлённые норвежцы. Но вы всегла жили в России?
 - Всегда.
- Я видел одну женщину, очень похожую на вас, это было несколько лет тому назад. Но она была ирландка. Вы любите Ирландию?
 - Я никогда не была в Ирландии.
 - Но, может быть, вы любите Англию?
 - Я никогда не была в Англии.
- Но ведь вовсе не необходимо быть в какой-нибудь стране, чтобы любить или не любить её. Уверяю вас, что я любил Филиппинские острова и Сан-Франциско, и Лондон до того, как мне удалось там побывать. И я очень люблю Париж, которого никогда не видел.
 - Как? Разве вы не француз?
- Нет, сказал гость улыбаясь. Я не француз. Я американец.
- Американец? с удивлением повторила Анна Сергеевна. Это совершенно на вас непохоже. Как ваше имя?

Авантюрист не сразу ответил. — Меня зовут Эдгар, — сказал он. — Эдгар Аллан По.

- Вы не похожи на негоцианта, сказала Анна Сергеевна. Ни тем менее на колонизатора.
- Я не колонизатор и не негоциант. Я только не пугайтесь поэт.
 - Что же вы делаете здесь в России?
- Вы уже забыли, что я авантюрист, сказал Эдгар улыбнувшись. Авантюрист бывает всюду, на то он и авантюрист. Я не очень хорошо знаю, зачем я приехал в Россию. Но во всяком случае, я буду искренне жалеть, что через несколько часов я её покину и не смогу больше разговаривать с вами.
- Вы пишете стихи? В России вам нечего делать, у нас нет поэзии. Французы лучше.

- Я не нахожу, сказал Эдгар. Французы, помоему, плохие поэты.
 - Как? А Корнель? А Расин? А Ронсар? А Буало?
- Из них всех один Ронсар ещё немного похож на поэта. Остальные не поэты, это ошибка. Они или подражатели, или чиновники. Я, впрочем, и Ронсара не люблю.
 - Кого же вы любите?
- Франсуа Вийона, быстро сказал Эдгар. И Алэна Шартье. Он неудачный, может быть, поэт, но замечательный человек.
- Я всегда завидовала поэтам, сказала Анна Сергеевна. Но взглянув на собеседника, она увидела, как потемнело и нахмурилось его прекрасное лицо, как сощурились и потухли его глаза и как губы его свела такая быстрая и ужасная судорога, что она невольно испугалась и вспомнила, что с первого же взгляда она заметила в его лице что-то сумасшедшее.
- Пусть Бог, медленно сказал Эдгар, пусть Бог сжалится над вами, если вы когда-нибудь почувствуете себя во власти призраков и крыльев, и неумолимых глаз. И этого лица, он говорил, как в бреду, от которого вы никуда не уйдёте. И этого знания, которое заставит вас заметить нелепость судорог матери у трупа своего сына, смешные движения умирающего и неправильность расположения сосков у женщины в ту минуту, когда она становится матерью моего ребёнка.

Он замолчал, потом снова заговорил с той же жалобной интонацией, которая прозвучала в его голосе, когда он жаловался, что ему холодно.

— Пусть мне дадут спокойно умереть. Я больше не могу. Я никогда не отдыхаю — и вот уже много лет: всё вращается передо мною и пропадает, и опять появляется — люди, предметы, страны; а ночью я вижу сны и во сне свой труп на земле.

Она молчала, не зная, что сказать этому странному человеку.

— Затем, — продолжал он, — я слишком много знаю и неумеренно много чувствую. Я вижу сквозь непрозрачные предметы, я слышу звуки скрипки в фут-

ляре и звон неподвижных колоколов. Вам это кажется странным?

- Да. Но уверены ли вы, что вы всегда видите и слышите то, о чём говорите?
- Всегда, с отчаянием сказал он. Дайте мне вашу руку.

Анна Сергеевна протянула ему руку. Пальцы её дрожали. У Эдгара была холодная и неподвижная рука, и на этот раз Анна Сергеевна не вздрогнула от его прикосновения. Но по мере того, как её горячие маленькие пальцы всё дальше держали руку Эдгара, пальцы авантюриста становились вновь тёплыми и живыми. Тусклые глаза его, глядевшие в сторону, постепенно оживлялись.

Я скажу вам одну только вещь, чтобы доказать, что я не фантазирую и не ошибаюсь, — сказал Эдгар. — Я вижу у вас с левой стороны груди почти над сердцем, чуть-чуть ниже, белый шрам. Откуда он у вас?

Анна Сергеевна, знавшая, что Эдгар не мог видеть шрама, вздрогнула.

- Это оттого, сказала она упавшим голосом и опять побледнев, что я ещё девочкой ранила себя, споткнувшись о крыльцо и наткнувшись грудью на острую железную скобку, о которую вытирают сапоги, когда бывает грязь или снег. Но неужели вы это видите?
- Вижу, уныло сказал Эдгар. Я вижу ещё одно: у вас скоро будет ребёнок.
- Это неправда, сказала Анна Сергеевна, покрасневшая, как девушка.
- Моя дорогая, сказал авантюрист изменившимся голосом, который показался Анне Сергеевне бесконечно давно знакомым, не поймите меня плохо. Я знаю, что вы живёте сейчас одна. Нет, я говорю не так и не потому, как вы сначала подумали. Но всякое событие, прежде, чем оно происходит в действительности, уже существует. Так в этой комнате уже существует рождение вашего ребёнка, которое я вижу ещё и потому, что в ваших жилах слишком густа и горяча кровь. Здесь существует сейчас моя смерть, и в небольшом пространстве, которое мы с вами видим вокруг нас,

помещается целый город Америки или Англии, где я умру. Скорее, впрочем, Америки, так это далеко от нас. Почему вы не удивляетесь памяти? Память — это зрение, обращённое назад. Но ведь есть люди, которых Бог поместил впереди их жизни. Представьте себе, что вы стоите, где-то далеко, на краю длинной дорожки, которую освещают факелом. Огненное знамя приближается к вам, оно освещает по пути города, в которых вы будете жить, лица людей, которых вы увидите, тела женщин, которых вы будете любить. Потом в последнюю минуту оно осветит чёрный океан, в который вы погрузитесь навсегда; красное пламя обожжёт вам лицо и грудь, и вы умрёте.

Он остановился. Оплывали свечи в гостиной, дрожащие тени бежали по потолкам; за окнами было холодно и темно. Анна Сергеевна вспомнила, как будучи маленькой девочкой и лёжа в кровати, она свёртывалась под одеялом, укрывалась с головой и воображала, будто это её пещера или большое гнездо, или берлога, где она недосягаема для всех и где её маленькое тело обволакивает сладкое тепло. Это чувство, изменившееся с годами, всё же всегда оставалось в ней; оно бывало особенно ощутительно тогда, когда на дворе была осень, и шёл холодный дождь или была метель, а Анна Сергеевна сидела перед пылающими дровами и чувствовала себя палёкой от всех несчастий и бел, в тепле и спокойствии. Теперь же, сидя против замолчавшего Эдгара, она почувствовала внезапный холод, точно в комнату, такую недосягаемую до сих пор, вошли извне холодные камни чужих городов, ледяное дыхание замерзающей земли и точно тут, рядом с ней, лежало застывшее тело с мёртвым и прекрасным лицом.

- Как странно, сказала она, как всё это странно. Я никогда не думала, что на свете может существовать такой человек. Даже в Америке.
- Почему вы такой? спросила она. Не удивляйтесь моей наивности. Я не нахожу сейчас других слов.
- Я не знаю почему, сказал Эдгар. Я знаю, что в глазах всех знающих меня я только бродяга и сумасшедший. Я учился в Англии, я был военным, я знаю

несколько языков, я силён и здоров — и мне кажется, что нет вещей, которых я не понимаю. Когда со мной говорят незнакомые люди, я знаю, что они скажут: я вижу всегда — умрёт ли этот прохожий насильственной смертью или у себя дома; я узнаю шулера до того, как он возьмёт карты в руки, и вора, который вдалеке пройдёт по улице. Я знаю, как и почему женщина, с которой я говорю, будет меня любить и почему потом она будет плакать. Я слышу звон снега и слова, которые ещё не произнесли, но сейчас произнесут; я угадываю с закрытыми глазами, находится ли в доме, куда я вощёл в первый раз, мужчина или женщина: я чувствую, как тяжёлым облаком летит в воздухе война, о которой ещё никто не думает; и сидя в Лондоне, я слышу, как трещит и содрогается корабль, который сейчас пойдёт ко дну в середине Тихого океана. Но я не знаю, почему я обречён этим мучениям и в силу какого страшного закона я живу, окружённый десятком смертей в день.

Вспоминая потом об этом разговоре и о том, что случилось затем, Анна Сергеевна всегда испытывала тоску и стеснение в груди, как будто бы дорогой и близкий ей человек находился в смертельной опасности. Она подошла к авантюристу, села рядом с ним и начала гладить его волосы.

— Бедный Эдгар, — бормотала она, — бедный Эдгар!

Он поднял её ослабевшее от волнения тело, подхватив его в талии и несколько выше колен, и точёные пальцы его рук остались неподвижными на тёмном бархате платья. Затем он посадил Анну Сергеевну к себе на колени: она продолжала гладить его голову и повторять: — Бедный Эдгар, бедный Эдгар!

Он не сделал больше ни одного движения. Его голова лежала на её тёплом плече.

Из дальней комнаты прокуковала кукушка, и всё опять стало тихо. Голова Эдгара не шевелилась, глаза его были закрыты: но потому, что сзади себя на стене, находившейся против спины Анны Сергеевны и которую она не могла видеть, ещё стояла, как ей казалось, живая и настороженная тень — она знала, что он не спит.

Перед закрытыми глазами Эдгара текла широкая спокойная река. Далёкие чужие голоса перекликались над ней, быстрое шуршание воды и бульканье играющей рыбы дополняли эти звуки. Река текла и расширялась и меняла цвет; вот она огибает жёлтый берег с едва виднеющимися вдали маленькими хижинами и становится мутной и серой; затем она синеет, как сталь на огне, проходя мимо невысокого замка, окружённого деревьями. — Это Рейн, — думает Эдгар.

И вот вдалеке, там, где река сливается с океаном, в приморском холодном тумане возникает гигантская фигура, держащая в руке пылающий факел. Река приближается к нему: и перед глазами Эдгара освещается широкая полоса воздуха, в которой бешено раскачиваются чёрные сломанные мачты и разорванные паруса; и непостижимо держась на воздухе и не падая вниз, вьются призраки и трепещут крылья; и на воздушных волнах равномерно качается как будто заснувшее, но страшное и живое лицо, которое давно преследует Эдгара и медленно следует за ним — за кораблями и экипажами, через Англию и Шотландию, и Россию — и для которого, как для него, не существует ни смерти, ни опасности, ни расстояний.

— Я ещё не твой, — медленно и гневно сказал Эдгар по-английски. — Я ещё не твой.

И тогда он вспомнил о руке, которая не переставала гладить его. Он взял её и поцеловал, потом положил опять на свои волосы, опустил голову, и Анне Сергеевне показалось, что он заснул. Она заглянула ему в лицо. Он спал спокойно, грудь его равномерно поднималась и опускалась: длинные ресницы бросали тень на его белое неподвижное лицо, и только в левом углу губ не успел ещё лопнуть маленький пузырёк нежно-розовой пены.

6 мая 1930 г.

Василий Яновский

поля елисейские

(глава о Ю. Фельзене)

Laissons les belles femmes aux hommes sans imagination. M. Proust

Юрия Фельзена, — псевдоним Николая Бернгардовича, — я встретил впервые на собрании "Кочевья", в пору расцвета этого кружка, то есть в конце нэпа и двадцатых годов.

До чего опибочным может оказаться первое впечатление! Даже наружность его при более интимном знакомстве (и с годами) менялась к лучшему, несмотря на то, что краски серели... Вот он сухой, похудевший, — сутулясь, — доброжелательно слушает собеседника, никогда не теряя себя (или контроля над своими мыслями). В его костлявых, но крепких пальцах дешевый мундштучок с вечной "голуаз жон". Если бы потребовалось одним словом или одной фразою определить его сущность, то я бы сказал: "нечто обратное предательству". (Как по отношению к ближнему, так и к себе).

У него развивалась какая-то болезнь спинного хребта (вернее, связок позвонков), так что он слегка согнулся хордою и не мог уже целиком выпрямиться, что подчеркивало его барственную неподвижность и вежливую внимательность.

Свой первый рассказик Фельзен напечатал, кажется, еще в "Новом Корабле" и раза два читал это произведение на собраниях: разворачивал перед собою, аккуратно завёрнутый в газету журнальчик и внятно, чет-

ко, спокойно, однако, с большим внутренним жаром оглашал, синтаксически странные, искусные фразы.

Писал он о любви, сдобренной мазохистической ревностью, и в этом смысле плелся в хвосте Пруста; но связь с последним дальше не шла. Хотя предложение фельзена было длинное и трудное, но прустовское, постоянное сравнение предметов одного ряда с явлениями совершенно другого ряда у фельзена отсутствовало; (мир его был линейный). Вот его тишичная фраза: "Леля во мне перестала нуждаться, и вся ее дружественность исчезла, как раньше — с концом любовного раздвоения и совестливой борьбы за меня — исчезла ее раздражительность: я оказался попросту лишним и — трезво это понимая — к ней, по слабости, не мог не приходить, а Леля, упоенно-радостно-щедрая, мне дарила, словно подаяние, свое столь живительное присутствие".

Я упоминаю о Прусте, потому что Николаю Бернгардовичу часто приходилось туго от этого своего стилистического (и типографского) сходства с любимым, великим и модным писателем. Так, улыбаясь, он рассказывал: в Союзе молодых писателей (Данфер Рошро) после чтения Фельзена выступил Г. и заявил, что это сплошной Пруст! А несколько лет спустя Г. сознался ему, что в ту пору еще Пруста не читал.

Вообще, о Прусте в конце 20-ых годов слагались легенды, но читали его немногие. (Так, во время русско-японской войны валили все на подводные лодки, которых еще никто воочию не видал).

Проза Фельзена без красок: серый рисунок, острым карандашом... Скучная отчетливость. Поплавский выразился: "Кто может выслушать целый концерт для одной флейты?" Для такого рода литературы надо было локтями расчищать дорогу. И Фельзену в этом чудесным образом помогали разные, часто враждебные друг другу влиятельные люди. Адамович, Ходасевич, Гиппиус, Вейдле. Все они старались коть раз в год пожвалить его (даже чрезмерно). Что казалось иногда — несправедливым! Любопытно, что со времени падения Парижа и гибели Фельзена, никто из оставшихся в живых маститых критиков ни разу не посвятил статьи его романам: это даже неприлично, принимая во внимание

предыдущие комплименты. Думаю, что главный талант Фельзена (не выраженный в книгах) заключался в его умении вызвать к жизни в собеседниках их лучшие черты характера. Великая и редкая человеческая способность. И мы все (бессознательно) были ему за это благодарны.

Практичный, умный и зоркий, он всегда честно разыгрывал свои карты, не упуская ни одной взятки (или, по крайней мере, так чудилось).

В бридж он играл лучше нас всех; (в шахматы совсем слабо). Благодаря картам, он свел и помирил таких исконных врагов как Адамович-Ходасевич. Было особенно приятно иметь его своим партнером против любых противников (даже профессионалов). В чем тут секрет?

Ходасевич за картами, обычно, нервничал, кривился, ерзал, когда его партнер ремизился. А Фельзен всегда торжествующе сиял, точно напроказивший гимназист (ускользнувший от наказания) и собирал взятки; только в конце, чтобы подразнить, скажет:

— Главное, я выиграл совершенно без карт. Никогда еще такая дрянь не лезла в руки.

Подчас выглядел он первым учеником, которого все преподаватели одинаково хвалят. Но это была только внешность. Независимый, во многом упрямый, осведомленый, трезвый и честный (даже в мелочах). Когда требовалось обстоятельствами, он умел отличнейшим образом отстаивать свое мнение, без компромисса (часто сероватое на фоне наших пышных мифов); и отвечал, пусть символической, но все же пощечиной на каждый хамский тумак, поднимающего уже свою рудиментарную голову древнего гада.

**

Фельзен, сын петербурского врача; в 1912 году, очень молодым, он кончил юридический факультет. После Октября семья переехала в Ригу, где отец продолжал свою врачебную практику. Дядя Николая Бернгардовича был владельцем портняжного магазина в столице: там шили блистательные мундиры для золо-

той молодежи. И эти клиенты дяди сыграли (мне кажется) решающую роль в формировании Фельзена.

Сам он в эмиграции занимался коммерческими сделками; сперва в Берлине (удачно), потом в Париже с меньшим успехом: вероятно, уже литература мешала.

Почему-то компаньоны часто обкрадывали Фельзена. В Париже он бегал на биржу, но без особого толка, потеряв на какой-то транзакции весь капитал. К счастью, один из вышеупомянутых компаньонов женился на сестре Николая Бернгардовича: в их доме Фельзен мог отныне безданно, беспошлинно обретаться.

Биржа и западная коммерческая деятельность наложили особую печать на его творчество: смесь получалась новая, по русским понятиям, необычная. Деловая порядочность в Фельзене переключалась в личную и литературную.

Упоминаю об этом еще потому, что гибель его находилась в какой-то связи с темными аферами его друзей и родственников. Разумеется, лучше всего об этих делах могла бы поведать сестра покойного или ее супруг.

В романах Фельзена герой, привыкший к хорошей жизни, продолжает подвизаться на коммерческом поприще, но без особой удачи; он влюблен, — из книги в книгу, — все в ту же, нестареющую Лелю (предмет постоянных шуток на Монпарнасе).

Портрет этой Лели, — "чистая химия": с гордостью объяснял он. Иначе говоря, к основному типу (проживающему в Риге) были прибавлены черты разных других дам, с которыми судьба сталкивала автора.

Серия его произведений должна была по замыслу составить один роман; Фельзен искал и не мог найти объединяющее заглавие, по удаче равное "A la Recherche du Temps Perdu". Кроме этого творческого занятия, было у него еще одно: влюбляться. И в своих личных романах он постоянно повторял ту же ситуацию — страдающей, ревнующей жертвы. Подобно Прусту, его мазохистически влекло к подобного рода мукам, и он смаковал роль свидетеля, (из угла, в гостиной) наблюдающего за "Лелей" — как она любезничает с другими самцами.

Основную, первую Лелю мы все встретили на Монпарнасе, когда она проезжала Париж; (она потом погибла от рук наци в Риге, что, разумеется, придает ее облику новое измерение). В Доминике она мне показалась несколько крупной дамой с "выигрышными" ногами (по выражению Фельзена), о которой можно только утверждать, что она хорошо сложена, практична, и, по-видимому, с характером... Тайна личности, успеха, сказывается в творчестве, торговле и в любви! Эта тема одинаково интересовала Фельзена и меня, и мы часто вдохновлялись ею.

Собственно, в таких интимных беседах и заключалась главная прелесть общения с Николаем Бернгардовичем. С Поплавским хотелось спорить, ругаться! (а уйдя, в виде мести, создать новый мистический вариант вселенной). С Фельзеном, наоборот, конкретный, тихий обмен мнений порождал немедленный, самоокупающийся духовный уют.

Слушая его рассказ, казалось естественным вспомнить нечто похожее (параллельное) из своего прошлого и сообщить ему. А Фельзен умел слушать, все понимая. Не на лету, не с полуслова, а задавая дельные, точные вопросы: подумает и кивнет головой — приняв это, укладывая в ряд с личным опытом.

** *

В 30-ых годах мы с ним встречались почти ежедневно. Я только что закончил "Любовь Вторую": отрывок, под заглавием "Преображение", напечатали "Современные Записки" — на этом мои отношения с ними, как будто, прервались. Как издать книгу?

Между тем, Париж ликовал, празднуя вместе с Буниным его Нобелевскую премию. Иван Алексеевич ходил пьяный шампанским, с утра: особый хмель — не без отрыжки. Вера Николаевна, уезжая с мужем в Стоктольм, заявила при свидетелях:

— Вот верьте мне, чует сердце: я еще раз поеду туда за этой премией!

(Предполагалось, что Зуров станет вторым лауреатом).

А печататься нам все-таки негде было. Тогда это

казалось главной препоной для нормальной писательской деятельности. (Теперь ясно, что эмигрантская литература гибнет от отсутствия творческого читателя).

Наши книги продавались во все русские лимитрофы; но мы не умели использовать этого преимущества. Халатность авторов и жульничество издателей доконали рынок.

Вот тогда у меня мелькнула "наполеоновская" идея; и партнером для осуществления замысла я избрал Фельзена. Он тоже, к тому времени, закончил свои "Письма о Лермонтове" и понял меня сразу, до тонкости.

Предполагалось организовать выставку зарубежных книг: издательства охотно предоставят нам экспонаты и соответствующий товар для дешевой распродажи. А мы проведем среди посетителей подписку на будущие издания... За десять франков они к концу сезона получат одну, две или три вновь изданные книги — в зависимости от числа участников (ибо вся собранная сумма пойдет на типографию).

Фельзен вполне оценил этот план, но по-своему, практически. В то время, как я нажимал, главным образом, на подписку и жертвенный порыв, он интересовался преимущественно входной платой и процентом с продажи.

— Все отлично, но где взять приличное помещение и бесплатно . . .

У меня и это было подготовлено. Музей Рериха. Там собирался раз в неделю "Пореволюционный Клуб" кн. Ширинского-Шихматова. Выставка зарубежной литературы, в общем, послужит хорошей рекламой для Музея: он стоял пустой круглый год, увешанный тибетскими полотнами художника. Рерих в эти тоды хлопотал о создании чего-то подобного Красному Кресту в отношении произведений искусства. Сотрудничество с зарубежными писателями могло помочь делу Музея. Но это, конечно, только в том случае, если наша выставка не будет носить характера частного предприятия.

Мы решили действовать от имени Парижского объединения писателей и поэтов. И получили для

этого соответствующие полномочия. Была создана Издательская коллегия в составе Фельзена и меня. Три книги, изданные в ближайшие два года (и разосланные подписчикам), носили марку этой коллегии.

В продолжение всех последовавших деловых передряг (подготовлений, ликвидаций) мы с Фельзеном проводили вместе иногда целые дни, недели, месяцы. И надо отметить, что обычного в таких случаях накопления взаимного раздражения не наблюдалось.

Ум его — всегда ясный, житейски мудрый и положительный: особенно в мелочах... Фельзен поражал и радовал своим savoir fair. Когда я в ресторане заказывал курицу, а на первое просил суп, Николай Бернгардович меня наставлял:

— Возьмите лучше hors — d'oeuvre! Курицы дают четвертушку, надо чем-нибудь насытиться.

И хотя впоследствии мне случалось попадать в рестораны, где дают целого каплуна, но все-таки, по сей день я выбираю еще "закуску".

В субботу ночью на Монпарнасе народ иногда вышивал лишнее и ссорился; кое-кто лез в драку. Фельзен в таких случаях выступал в роли миротворца:

— Я тут командую, — заявлял он решительно, оттесняя спорящих.

И так как его многие любили и почти все уважали, то это действовало:

— Да, да, Николай Бернгардович, вы решайте...

И он творил соломонов суд к общему, казалось, удовлетворению. Однако, раз, новый человек, приведенный Кнутом на Монпарнас (капитан парусного судна), — неожиданно возразил:

— Нет, вы здесь не командуете.

И вся многолетняя постройка Фельзена рухнула на манер карточного домика: все опешили...

Мы опять вернулись в Доминик; (потасовка происходила на тротуаре у метро Вавэн). Заказали по рюмке горькой — в утешенье. Фельзен молодцевато опрокинул вверх дном стопку и лихо подмигнул... Осторожно закусив, он, посмеиваясь, начал мне объяснять всю несуразность происшествия; и я, едва ли не пострадавший больше всех, с хохотом внимал этой воистине смешной истории.

Некий полумеценат и полудатчанин, знакомый фельзена, прикатил в Париж с молоденькой и стопроцентной розововолосой датчанкою. Спор разгорелся оттого, что меценат, нагрузившись, пожелал, наконец, увезти эту девицу в отель. Но вышеупомянутый капитан и его друг Куба решили, что нельзя отпустить такую прелестную блондинку, вдобавок сильно выпившую, одну с этим полупавианом!

— Подумайте, — посмеивался Фельзен, неохотно ковыряя вилкою в остатках русской селедки. — Подумайте, ведь он ее привез из Копенгагена, они живут в одном номере... Ну не чушь ли?

У него было особенно развито чувство уважения к "правилам игры". Regles du jeu, Rules of the game, ему представлялись автономными ценностями: нарушение этих законов приводит к сплошному безобразию!

На Монпарнасе сплошь и рядом возникали критические положения. Часто надо было кого-то "спасать", выкупать, примирять. То Иванов попался на "транзакции" с Буровым, то Оцуп угрожает пощечиною Ходасевичу, то Червинская разбила несколько чашек и блюдец в Доме... Чтобы урезонить Лиду Червинскую иногда требовалось выяснить все отношения, на что, после полуночи, были способны только люди с железным здоровьем.

Так, раз, я наткнулся на Фельзена в темном проулке возле "Монокля" (или "Сфинкса"): он тащил за руку упирающуюся поэтессу и, узнав меня, присел на вавалинке... С трудом перевел дыхание, затем спокойно, ожесточенно сказал:

— Я больше не могу! Я решительно больше не могу! — и не дожидаясь ответа, скрылся в тени, словно унесенный предутренним вихрем.

Помню, как зайдя в Дом по личным делам, я вдруг наткнулся на сцену, которую не трудно было сразу оценить по достоинству: груда посуды на полу, гарсоны в угрожающих позах, а высокая, сутулая Червинская (похожая на Грету Гарбо) стоит у пустого столика, точно дожидаясь суда.

Заикаясь, я немедленно объяснил, что это все очень роны граничил с геройством). К счастью, Куба, прялегко уладить! (Без денег такой поступок с моей стотавшийся где-то сзади (и виновник припадка Лиды), подскочил и вручил нам требуемые франки.

**

О русском Монпарнасе слагались легенды. На самом деле, жизнь там протекала на редкость пристойно и даже скучно, если не считать основного развлечения: страстных, вдохновенных бесед.

Обычно литераторы просиживали до последнего метро — за одной чашкою кофе. Иногда, пропустив последний поезд, шли в Доминик. Там нас встречал коренастый Павел Тутковский, с которым я объяснялся отчасти по-латыни, используя все знакомые пословицы. Тутковский, юрист старой русской школы, знал и любил латынь.

- Вита ностра бревис эст! скажешь ему для начала.
- Бреви финиатур, охотно поддержит он. Прикажете той самой?

Люди с деньгами заказывали водку; (Смоленскому случалось выпивать за счет дам). Но даже при средствах, неловко было напиваться, если рядом сидит голодная душа; (а такие у нас бывали). Нагружались систематически только слабые и безобразники да коекто из дам.

Милейшая Марья Ивановна, жена Ставрова, любила повторять:

— Вот, говорят, что на Монпарнасе происходят оргии, — тут она презабавно кривлялась, подражая воображаемым сплетникам. — Ну, переспят друг с другом, подумаешь оргии!

И действительно, ничего противоестественного на Монпарнасе не происходило: жизнь протекала на редкость размеренная и высоконравственная, по местным понятиям.

Чтобы прожить надо было как-то работать... А писать! тоже каторжный труд: особенно прозу. Некоторые еще бегали в Сорбонну.

— Я не знаю, когда я пишу стихи, — брезгливо морщил свое лицо утопленника Иванов. — Я их пишу, когда моюсь, бреюсь . . . Я не знаю, когда я пишу стихи.

Увы, прозаики знали, что для этого требуется определенное место и время, и страдали от ненормальных условий.

Обычно Фельзен с дамою приходил на Монпарнас попозднее: они где-то обедали (с водкою) и чувствовали себя отменно.

- Вы до или после? шутливо осведомлялся я. Они отвечали, посмеиваясь:
- После, после.

Кругом разговор о разбойнике на кресте, о Блоке перемежался очередной литературной сплетней; за соседним столом разместились бриджеры — и просят не мешать!

- Почему вы даму не взяли? желчно осведомляется Ходасевич.
- A чем ее возьмешь, пальцем что ли? голос Яновского.

Адамович торопится, между двумя сдачами, рассказать про свой недавний сон... Играет, будто бы, в бридж (против Милочки и Романа Николаевича), раскрывает карты, а там одна сплошная масть со всеми онерами! Сердце стучит, как перед большим шлемом, но, вдруг, он замечает, что масть эта совершенно незнакомая, зеленого цвета и неизвестно, какую следует назначить игру...

— Xa-хa-хa, ну, давайте играть, — нервничает Xодасевич.

То, что эти славнейшие эмигрантские критики сидят рядом за мирной партией в бридж, следует рассматривать как некое чудо. И совершил это чудо — Фельзен: он свел обоих врагов!

Причин для исконной вражды было много: метафизических и практических... Разные литературные школы, разные биографии, разные темпераменты, вкусы.

На основе своих теоретических размышлений, Адамович должен был бы установить очень почтенную иерархию ценностей: самое главное, скажем, евангель-

ская любовь, затем философия или наука, потом шгра, секс, наконец, искусство — на последнем месте... Скромное занятие и совсем не позорное. Но, увы, тут начинался парадокс! Как только человек, созвучный этим настроениям, посвящал себя "творчеству", он сразу пускался в погоню за "самым главным", "на последней глубине", переворачивая всю пирамиду ценностей вверх ногами, доказывая единым существом своим, что именно искусство есть самое важное в жизни: ему-то суждено все преобразить, все объяснить, спасти! (Иначе не стоит вообще этим заниматься).

Вот на такого рода противоречия, если не ошибаюсь, пытался обратить наше внимание Ходасевич. (Логика его укладывалась между Аристотелем и Фомой Аквинским).

Кроме философских расхождений, были, конечно, и вультарно-обывательские поводы к распре. Адамович вел критический отдел в лучшей и более приличной газете; Ходасевича, разумеется, не веселило общество возрожденческих сотрудников (за малым исключением). А обе газеты конкурировали, и участники вступали в групповые полемики.

Ходасевич, в конце концов, мог простить Адамовичу, что тот перехвалил Шаршуна: пусть его тешится. Но панегирик Г. Иванову — это возмутительно! Иванов, по мысли Ходасевича, вышел из Фета (и не лучшего Фета). Кроме того, именно Георгий Иванов, по своим нравственным особенностям, опровергает всю эстетику Адамовича: "что бы Толстой сказал"? . . . Со своей стороны, Жорж Иванов тоже не дремал и шептал, шептал, шептал на ухо другу . . .

Ходасевич, одно время совершенно изолированный, отгребался как умел и даже пустил остроумную сплетню о богатой старушке, убитой в Петрограде. Это вконец взбесило капризного Адамовича... Но годы и такт Фельзена сделали свое дело; ко времени Народного Фронта оба зоила начали дружески общаться на Монпарнасе — отчего мы все только выиграли.

По утрам, встречаясь с Фельзеном в кафе, до открытия выставки, мы пили неизменное какао; он закуривал свою "голуаз жон", — ("из приличных папирос это самая дешевая"), — и медленно отпивал горячую бурду. Поглядывая на прохожих, обстоятельно рассказывал последние новости... Вчера, по дороге домой, он еще забежал в Мюра (где сражались в бридж профессионалы); не успел он подсесть к Ходасевичу, как в подвал спустился Оцуп и начал хамить, даже полез драться, так что пришлось вмешаться. (Ходасевич в последней статье написал, что Оцуп занимается делячеством и живет с "Чисел").

— Как ни странно, Оцуп, по-видимому, ожидал, что мы поддержим его, — задумчиво улыбаясь (и внимательно взглядывая на севших неподалеку парижан), — продолжал Фельзен: — Что значит: выбыть из строя! Он потерял контакт с действительностью.

О том, что случилось вчера в Мюра, я мог узнать от десятка свидетелей. Но последнее замечание (что Оцуп рассчитывал на нашу благодарность и помощь) — это было типичным образцом фельзенизма. Вся его литература держалась на "психологизме"; высшей ценности он еще, кажется, не знал и в этом был верен себе. (Он и Лермонтова так любил потому, что видел здесь начало русского психологического романа).

Но гораздо забавнее было слушать Фельзена, когда он делился впечатлениями из прошлого. Повествования такого порядка жили в нем как некая автономная часть: я это чувствовал тогда не меньше, чем теперь и все еще не понимаю, в чем их подлинная ценность. (Что таковая имеется, я уверен).

- Она мне давно нравилась, мог начать Фельзен. Мы изредка встречались у общих знакомых: ее муж разъезжал по торговым делам, и она часто приходила одна. Раз, прощаясь уже, я сказал:
- Выслушайте и не сердитесь, пожалуйста. Уже поздно, дома вас сейчас никто не ждет, что если бы мы провели остаток ночи вместе?...

И она, без всяких ужимок, согласилась. Очень мило, но у подъезда, вдруг, передумала:

- Нет, не ловко! В той же квартире, не хорошо как-то. Да и соседи могут заметить.
- Это бывает, объяснял Фельзен. Но я знал такой отель невдалеке. Кликнул такси, поехали. Только что заняли номер, она опять заметалась, чуть ли не плачет: в первый раз на такое решилась... Ну что это такое? Даме за тридцать, надо знать, чего хочешь. Тут я ее, в сердцах, ударил, рассказывал Фельзен. И представьте себе она сразу успокоилась. Все сошло отличнейшим образом. Потом она мне сама признавалась, что я был совершенно прав. И у нас установились прекраснейшие отношения.

Другой эпизод (для сопоставления).

- Я, вообще, никогда не набрасывался на женщин. Наоборот, даже был чересчур застенчив... Вот, раз, сижу в Ротонде, перелистываю журналы, а за соседним столиком молодая женщина поглядывает в мою сторону. Я заговорил с ней. Жена музыканта, он постоянно в турнэ; живут они у метро Мюэт. Любит Скрябина и увлекается русским балетом; на прощание "обменялись" телефонами. Я не обратил особого внимания на все это, а через неделю, за обедом, вдруг, звонок:
 - Вы уже пили кофе?
 - Нет еще.
 - Приезжайте ко мне.

Я купил бутылку "Курвуазье" и отправился. Ну, кофе, коньяк, поцелуйчики. Наконец, она извинилась и вышла из комнаты; через минуту возвращается уже в одном халатике. И так неожиданно все вышло очень хорошо, хотя я, признаться, тогда был занят другими, важными для меня отношениями... Но слушайте дальше, — остановил он меня, предположившего, что это конец истории. — Вдруг она начала очень серьезный и даже грустный разговор. Она меня отнодь не обвиняет, никто этого не мог предвидеть, но так вышло: "Я вас прошу забыть все, больше этого не случится! Если мы встретимся еще как-нибудь, то просто как старые друзья. Пожалуйста, извините, но не наставайте. Я согласился! — Фельзен несколько иронически развел ру-

- ками. В конце концов, я никаких претензий не мог предъявить.
- И представьте себе, после паузы торжествующе продолжал он, через несколько дней опять звонок: нам надо встретиться! Условились в той же Ротонде. Длинное объяснение... С мужем давно не живет. В сущности, много обо мне думала все это время. Если мне это тоже подходит, то она согласна продолжать отношения.
- Ну, ахнул я, обрадованный, но и недоумевая, как следует в таких случаях поступать. Что же вы? Фельзен снисходительно улыбнулся:
- Я ответил, что уже свыкся с мыслью о разлуке, и теперь мне будет трудно перестраиваться на другой лад.
- Hy! простонал я, чувствуя, что это был именно тот ответ, который ему надлежало дать.

Рядом с виллою, где Фельзен проводил лето с сестрою, поселилась молодая буржуазная чета, бездетная, но с пуделем. Обе семьи познакомились и проводили вместе много времени; а осенью разъехались и в Париже больше не встречались.

— И вот, представьте себе, на днях я узнал, что они не женаты и в городе никогда на одной квартире не жили. Сестра случайно ее встретила: она теперь совершенно одна. Нет больше ни виллы, ни мужа, ни даже собаки: пудель тоже оказался его...

Фельзен несколько раз повторил последнюю фразу, словно с болью прикасаясь к тайне людских отношений, всегда интересовавшей его. Самый факт, что он рассказал об этой чете только теперь, несколько лет спустя, узнав, что "даже пуделя нет больше", очень характерен.

**

Он обычно приходил на свидание в кафе первый и немедленно доставал из бокового кармана сложенные вдвое листки бумаги, покрытые его ровным мелким разборчивым почерком: черновик — где и когда он его писал, не знаю... Над этими строками остро очиненным карандашом он выводил все новые и но-

вые слова: подумает, почистит резинкою только что написанное и опять нанизывает буквы на том же месте. Благодаря острому карандашу, правка получалась четкая и точная. Вот почему он ежеминутно прибегал к услугам крохотной машинки, которой пользуются школьники для очинки карандашей; (впрочем, эти паузы давали ему возможность отлянуть прохожих и подумать). Фраза Фельзена, синтаксически вывернутая наизнанку, все-таки производила впечатление четкой и как бы сделанной резцом.

Во время "смешной" войны он работал над новой книгой, предполагая ее назвать "Повторение пройденного".

— Я сообщил Адамовичу про это заглавие, и он сказал: "оригинально"! — говорил мне тогда Фельзен. (Разумеется, он не врал, но я догадывался, что если бы Георгий Викторович отозвался неодобрительно, то Фельзен бы промолчал).

Он никогда не повторял нелестного отзыва о себе; мы же, пореволюционное поколение, постоянно этим грешили. (А Фельзен в таких случаях смотрел на нас с удивлением и жалостью).

Когда человек, которого Фельзен дожидался в кафе, приближался к его столику, он рассеянно-приветливо улыбался, приподымался, пожимал руку и говорил "здрасте"... Немедленно затем прятал в боковой карман свои листки — до следующего удобного случая.

Время от времени распространялся слух, что Адамович пишет большую статью о Фельзене; или что Гиппиус, Адамович, Ходасевич и Вейдле устраивают вечер, посвященный его творчеству. В Париже такого рода затеи, конечно, не возникали спонтанейно! Недаром, Ходасевич, по другому поводу, сочинил неаккуратное четверостишие:

Сквозь журнальные барьеры И в Париже, как везде, Дамы делают карьеры, Выезжая на метле...

Стало быть, Фельзен должен был как-то подготовить всех этих лиц (обработать). Что он и делал, но незаметно, умело, с большим достоинством. В резуль-

тате чего Гиипиус самым чудесным образом усаживалась на трибуне рядом с Ходасевичем и вторила Адамовичу в его анализе нового писателя.

В былые годы такого рода нелепости меня возмущали. Я не был более завистлив, чем любой другой русский литератор. Но меня угнетала безответственность этих начинаний; (не менее безобразных, чем фашизм или коммунизм). Любимая цитата Адамовича из Пушкина: "Литература прейдет, а дружба останется" мне казалось родственной "Гаврилиаде!" (И тут и там — против Святого Духа). К тому же, все это явная гиль. Не разберу, где теперь дружба Пушкина с Дельвигом (и сочинения последнего), но стихи Пушкина, — то есть литература, — по-видимому, остались.

— В литературе, как в гимназии, — доброжелательно объяснял мне Фельзен. — Очень важно первое впечатление. Иногда в начале года получишь скверный балл и потом уже носишься с ним до перехода в следующий класс, а то и до выпускных экзаменов: так трудно переубедить наставников.

В "Круге" Фельзен часто должен был себя чувствовать неловко. По существу, он казался арелигиозным человеком, совершенно лишенным теологической интуиции и чуждым церковно-философским спорам. Он поддерживал формальную демократию (уверяя, что этот режим — наименьшее эло из всех существующих) и руководствовался всегда трезвым, честным разумом в век, когда мифы воздвигали тысячелетнее царство. В социальных вопросах он старался тянуться за нами, но души в это не вкладывал: ему как-то не верилось, что вследствие голода и эксплоатации люди начинают беситься, в спорах о христианстве он почти не участвовал; мне он признался, что Наташа из "Войны и мира", ее любовь к князю Андрею ему открыли почти все евангельские истины. (Меня это поразило и восхитило).

Несмотря на свою формальную ограниченность, Фельзен пользовался в "Круге" авторитетом и любовью. Он был с нами и в правлении "Круга", и в редакции; (во внутренний "Круг" его не пригласили).

В редакцию альманаха вошло все правление и еще Адамович (кажется, в правлении не состоявший).

Вот на этих многолюдных редакционных заседаниях, когда Адамович, по обычаю, отсутствовал, Гершенкрон цитировал древних греков, а я ссорился с Терапьяно, вот тогда Фельзен, неторопливо и трезво занимался делом. Аккуратный, умный, практичный, с очень тонким вкусом, он мог бы при других обстоятельствах стать выдающимся редактором большого журнала. Конечно, тнул определенную линию, защищал свое понимание искусства как в прозе, так и в стихах; причем, и личных интересов не забывал.

Так, в первом еще номере, возник вопрос, в каком порядке печатать материал: алфавитный хорош для прейскурантов и эпигонов. Мы не должны бояться указать лишний раз на самое главное.

Фельзен предложил начать отрывком покойного Поплавского и продолжать в порядке родственности к искусству последнего... В результате вторым после Поплавского оказался сам Фельзен, хотя трудно себе представить большую противоположность между восприятиями жизни (и преображением ее), чем у этих двух авторов.

После собрания редакции или правления (на 130, авеню де Версай) я часто попадал еще в кафе Мюра, где шла серьезная игра. Там всегда подвизалась теща Алданова, живая, добрая старуха. Это она мне открыла великую истину, что с тремя тузами (без другой поддержки) не стоит открывать игры. Ее совет я воспринял с благодарностью, как всякое откровение, основанное на личном опыте.

Фельзен здесь в жестоком подвале, все-таки "держал пропорцию", подчас выигрывая.

— Как ни странно, я опять вышграл, — сообщал он, довольно усмехаясь. — Главное, совершенно без карт!

Он мне раз сообщил, что выиграть много — неприятно! (Как Иван Ильич у Толстого). Ходасевич постоянно проигрывал, и хотя это ему было не по карману, все-таки по-своему наслаждался.

Зная, что там собираются литераторы, Бунин с Алдановым иногда после ужина спускались в подвал; возбужденные вином и уткою, старчески болтли-

вые, довольные и легко обижающиеся; (Алданов в обществе Бунина претерпевал изменения).

 Пьесы Толстого довольно слабенькие, — сказал я им раз после проигрыша.

Надо было видеть священный ужас Алданова:

— У Толстого все хорошо!

Эта их любовь к Толстому становилась вредною, ибо она оборачивалась равнодушием, даже ненавистью ко всему последующему в литературе. Бунин по-гусарски рубил:

— Вот мне прожужжали уши: Пруст, Пруст! Ну что ваш Пруст? Читал, ничего особенного! Надо еще Кафку посмотреть, наверное, тоже чушь.

(Он напоминал героев Зощенко: "Театр? Знаю, играл.")

А в это время Фельзен разыгрывал свои карты, к концу с силою шлепая каждой отдельно по столу и приговаривая: "пики, пики и опять пики", — озорно, но не раздражающе.

Странное дело игра, карты. На Монпарнасе были поэты, писатели, обожавшие всякого рода азарт; а рядом такие же талантливые люди, никогда (формально) в игре не участвовавшие... Толстой и Достоевский — такие разные, а отношение к картам почти одинаковое. Бунин и Алданов, Зайцев были совершено стерильны в смысле игры. Некоторые, как Фельзен, например, любили только коммерческие игры; (Адамович, Ходасевич, Вильде, Ставров, Варшавский, Яновский играли во все — хоть в три листика). Не прикасались к картам: Г. Иванов, Ладинский, Смоленский, Терапьяно и все наши дамы.

Летом семья Фельзена уезжала, и мне случалось заночевывать у него: я спал в комнате племянницы. Утром прислуга подавала опять какао с круассанами; догадываюсь, что к этому напитгу в их доме привыкли с детства (в России, что ли).

Благодаря выставке зарубежных изданий, мы превратились в каких-то специалистов. Секретарь Archives Internationales de Danse предложил нам устроить у них выставку книг, посвященных балету... (И ма-

ленькое жалование). Я не в меру удивился такой удаче, а Фельзен, подумав, сказал:

— Это всегда так в делах: надо только попасть на рельсы, тогда вас уже несет!

Я любил эти его сравнения и обобщения, чувствуя что за ними стоит настоящий внутренний опыт (такой опыт мы тогда ценили, быть может, чрезмерно).

Изредка он приносил на Монпарнас сверточки с крохотными сандвичами (черная икра, сыр, паштет). Это у его сестры был прием и остатки "буфета" Фельзен притащил к нам. Ему доставляло удовольствие смотреть, как мы уписывали помятую снедь... В таких поступках было, вероятно, больше христианской любви, чем во многих наших эсхатологических разговорах.

Я тогда помогал доктору 3., старому русскому врачу (непосредственно из Берлина) начать практику во Франции; умница и неудачник, очень опытный и слегка циничный, он пытался связать воедино разные, противоречивые терапевтические школы. Пациенты доктора 3. были заняты весь день гимнастикой и салатом из тертых яблок, так что у них не оставалось времени, чтобы хандрить. Я к нему посылал кое-кого из литераторов и меценатов.

Фельзен пошел разок к нему, а потом привел сестру, которая и начала после этого прыгать голая по квартире, шлепая себя мокрыми полотенцами. Вот тогда Николай Бернгардович пустил свою знаменитую шутку:

— Надо иметь железное здоровье, чтобы лечиться у доктора 3.

Когда, поздно вечером, мы выходили из Селекта, направляясь в Доминик, в кафе еще оставались двое литераторов: Шаршун и Емельянов. Фельзен, улыбаясь, точно расшалившийся гимназист, тихо говорил, указывая на них глазами:

— Веселые ребята!

(И это было очень смешно, ибо все что угодно, но веселья эти "ребята" не навевали).

В парижской жизни уборные почему-то играли большую роль; раза два за длинный вечер все спускались туда — помыть руки, пригладить волосы, нако-

нец, быть может, чтобы по дороге заговорить с какойнибудь шикарной девочкой. Там на торцах или решетках лежали, свернувшись, европейские нищие, разительно похожие на евангельских... Над их головой тихо шумела вода. В предутренние часы, после зря потраченной ночи, хотелось проникновенно молиться. (Такие настроения были Фельзену решительно чужды). Пользуясь любовью всех нас (и даже "генералов"),

Пользуясь любовью всех нас (и даже "генералов"), он, однако, не растерял своих старых биржевых связей. Фельзен был среди них белой вороной, но все же пользовался и там уважением.

Какие-то громоздкие, странные люди иногда подходили к столику Фельзена, широко улыбаясь, здоровались, заговоривали по-немецки. Кое-кото он приглашал сесть; появлялась бутылка коньяку, (приезжие, вместо рюмки, заказывали целую бутылку: гарсоны уже этому не удивлялись. Червинская воцарялась в центре, другие скромно устраивались на отлете, но с полными стаканами.

Вот, не без какого-то отношения к этим спекулянтам и собственным родственникам, Фельзен — погиб! Вскоре после начала войны сестра с мужем перекочевали в Швейцарию, где они проживают по сей день. Фельзен (со старушкой, глухой матерью) остался в Париже — ликвидировать дела своего "бо фрэра". Он должен был получить какие-то миллионы или миллиарды франков и отвезти их в Женеву. Но деньги ему все не давались: аферисты откладывали окончательный расчет. Тут следует отметить, что в разбазаривании Франции в годы оккупации, иностранцы принимали живейшее участие (как и в героизме резистанса). Французы часто не умели или не желали общаться с немцами... Картины, которые Геринг собирал для своей тысячелетней коллекции, прошли через многих и неожиданных посредников.

Весною 1941 г. я встретился с Адамовичем в Ницце; он мне показал открытку от Фельзена: "Я теперь не бываю у Мережковских, — довольно минорно оповещал Фельзен. — Там теперь бывают совсем другие люди".

Кстати, тогда же Адамович мне рассказал об от-

крытке, полученой недавно Буниным от X.; она приглашала Ивана Алексеевича вернуться из свободной зоны в Париж, уверяя, что "теперь объединение всей русской эмиграции вполне возможно".

— Стерва, еще подводит идейную базу! — решили мы, посмеиваясь. Но письмецо Фельзена прозвучало очень грустно.

Судя по рассказам, часть денег все-таки была собрана Фельзеном, а остальные ему обещали доставить в Лион. Устроив мать в Париже (на попечении доброй души), он перебрался в Лион, где опять застрял, теряя драгоценное время, дожидаясь вестей от жуликов. (Может, были еще какие-то причины его медлительности, но никто об этом до сих пор не сообщил).

Наконец, Фельзен со всеми суммами или только частью (на знаю) отправился в Швейцарию. (Меньше ста лет тому назад тою же дорогой, но дилижанском, бежал Герцен).

Фельзена ждали к чаю в Женеве: так утверждает Е. Кускова в ее споре со мною (Новое Русское Слово, 1955 г.)... Но не дождались. С тех пор след его не отыскался. По-видимому, немецкий дозор задержал всю группу; впрочем, если бы Николай Бернгардович оказался в плену, то дал бы о себе знать — хоть раз! Думаю, что он там же погиб, на границе.

Однажды, перед войною еще, "Национально-Трудовой Союз" (где нашел себе единомышленников (Г. Иванов) устроил в Лас Казе собрание, посвященное почему-то литературе... На этом вечере, главным образом и ожесточенно, ругали Адамовича, награждая его всеми милыми сердцу эпитетами от Смердякова до Иуды... Из задних рядов бросали и "подлеца", и "жида". Тогда Фельзен попросил слова, защищая не столько Адамовича, сколько нашу новую литературу, обязанную всем Адамовичу! Он говорил тихо, твердо и с обычным чувством меры, так что даже импонировал довольно дикой, смешанной аудитории.

Я хочу сказать, что если бы Юрий Фельзен вздумал скрыть от немцев свое еврейское происхождение, то это бы ему, наверное, удалось.

Не знаю где и при каких обстоятельствах погиб Николай Бернгардович, но не сомневаюсь, что умирая, он не изменил своему природному мужеству и чувству собственного достоинства.

шаршун, которого я знал

"Поэта мы увенчаем цветами и выведем его вон из города". Платон

Вспоминая мое длительное знакомство с Сергеем Ивановичем Шаршуном, мне хотелось бы для начала мысленно перенестись, примерно, на полвека назад и хотя бы в нескольких словах восстановить атмосферу городка, который никогда не был отмечен ни на одной географической карте. Городок этот был "русский Берлин". Конечно, сегодня такому словосочетанию легко придать нежелательный смысл, но тогда — в двадцатых годах нашего века — это была подлинная чересполосица, вклинившаяся в германскую столицу. Население этого русского городка едва ли могло быть с точностью подсчитано, но было известно, что оно достигает шестизначной цифры. Его обитатели в предельно краткий срок умудрились основать свои церкви и учебные заведения, издательства и рестораны, выпускали три ежедневных газеты и основали ряд культурных учреждений, оставивших заметный след в истории русской эмиграции.

В частности, по примеру того, который тогда доживал последние дни в Петербурге, еще не перекрещенном в Ленинград, был создан и берлинский "Дом искусств". Название это может показаться несколько напыщенным, потому что по существу "домом" называли еженедельные сборища людей, так или иначе причастных к литературе, журналистике и искусству.

На этих собраниях и призошло мое знакомство

с Шаршуном, который, вопреки большинству его берлинских соотечественников, появился в нем не как беженец, пришедший с Востока, но прибыл на берега Шпрее то ли из Франции, то ли из Испании. Тогда он еще подумывал о том, чтобы возвратиться в свое далекое отечество (он был родом из заволжских степей), однако на всю долгую свою жизнь застрял на Западе.

Я считал нужным особо отметить место нашей первой с Шаршуном встречи, потому что тогда в Берлине по разнообразным психологическим причинам знакомства завязывались легче, чем где бы то ни было, и дружеские связи были проще и крепче, чем это обычно бывает. Происходило это, вероятно, оттого, что почва там была зыбкой и неуверенной, и над завтрашним днем маячил некий призрачный, а потом уже зловещий вопросительный знак. Это в какой-то мере сближало.

Да, на одном из собраний "Дома искусств" кто-то, может быть, числившийся председателем престарелый поэт Минский, познакомил меня с Шаршуном. Шаршун был одним из наиболее верных посетителей "Дома", не пропускал ни одного его собрания, хотя ни разу не выступал. Он всегда сидел безмолвно, ничем своего присутствия не выдавая. Почти всегда его можно было видеть в той же компании, за столиком довольно эффектной черноокой художницы, выделявшейся своей вполне необычной прической. Такой внешний облик, какой был у нее, можно, пожалуй, встретить на картинах английских "прерафаэлитов". Шаршун не спускал с нее глаз, но к его горю он не был единственным, вздыхавшим по этой своеобразной Беатриче. Думается, что она доставила ему немало горьких минут, так как его увлечение отнюдь не было мимолетным. С неменьшей напряженностью оно позднее продолжалось и в Париже, куда вскоре — вслед "за всеми" — перекочевал и он.

Как он тогда жил? Это почти загадка. Впрочем, подобная загадка приложима к очень многим посетителям этих литературных собраний. Всем как-то удавалось — лучше ли, хуже ли — "ловчиться".

Шаршун писал уже тогда малопонятные профа-

нам полотна. Хотя снобы уже начинали увлекаться тем, что в передовом искусстве было вызывающим и озорным, любителей приобретать тускловатые полотна Шаршуна было считаное количество, а приспособить его к чему-то обыденному или, так сказать, продажному было как бы тринадцатым трудом Геркулеса! Все же, когда он что-то "загонял", он, не перекусив, сразу же мчался в какую-нибудь типографию, обладавшую русскими шрифтами. Вскоре после этого появлялась его очередная дадаистическая листовка, которую он затем раздавал знакомым, полузнакомым и вовсе незнакомым...

Уже тогда — помнится — он жил как-то особняком, "сам по себе", как киплинговская кошка и оттого казался неприкаянным. Он дружил со всеми, другими словами, ни с кем по-настоящему.

Есть, конечно, великая опасность в обладании двумя основными призваниями и подлинная удача художников, которые могли совместить свое исконное ремесло с литературным творчеством, также редка, как и пластические достижения писателей, норовящих что-то рисовать. Почти как правило на одну из двух областей творчества налегает густой осадок любительства, даже если их "энгрова скрипка" и таит своеобразную прелесть. Мне представляется, что известная трагичность биографии Шаршуна, собственно, до конца дней не нашедшего "тихой пристани" и все время мятущегося от кисти к перу, от пера к кисти, порождалась именно этими его постоянными колебаниями, невозможностью окончательно на чем-то остановиться, хотя в нем несомненно были заложены большие потенциальные возможности.

Я отнюдь не склонен причислять себя к его приятелям, хотя в продолжение ряда десятилетий встречался с ним довольно часто — то в довоенном Монпарнассе, то у общих друзей. Кроме того, он и в Париже — вплоть до последних лет — посещал все литературные собрания, не думая заранее о том, созвучно ли оно ему или нет, питательно ли оно для него или нет. Он, как водится, внимательно слушал ораторов, но в то же время чувствовалось, что он витает в каком-то своем

поднебесьи. Вероятно, ни один из докладов, ни один из докладчиков не был ему в полной мере по душе. Ведь также трудно было разгадать его литературные вкусы, как и политические симпатии. Но я не могу вспомнить ни одного его выступления, даже ни одной поданной с места реплики. Даже за чашкой чая в пружеской среде, где каждый был ему издавна знаком, он был почти нем, не любил спорить, не потому, что у него не хватало аргументов, которые он мог бы противопоставить говорившему, но потому, что, как мне теперь чудится, это его молчание было в каком-то смысле самозащитой. Он умышленно покрыл себя скорлупой, пробить которую было нелегко, и своим молчанием он хотел только дать понять: "не хочу вас, дорогие друзья или собутыльники, впускать, куда не следует и открывать вам мой мир, он — мой, и вам там не место".

Ведь недаром все его писания вьются вокруг да около него самого. Достаточно ознакомиться с его "Долголиковым", чтобы понять, что по жизни он шествовал в некой маске и слишком дорожил тем, что один из античных авторов в крылатой фразе определил, как beata solitudo — sola beatitudo". Блаженство одиночества он несомненно стремился испытывать, и мне думается, что оно было его единственным "блаженством", более ему дорогим и близким, чем все, что он испытывал, налагая краски на полотно или буквы на листы бумаги.

Были в нем некоторые странности, часто несуразные. Так, при встрече, пожимая руку, он вполне серьезно и якобы вполне искренно произносил какую-то преувеличенную учтивость, которая в чьих-либо других устах могла бы быть воспринята как издёвка. "Здравствуйте, великий поэт" или "как поживаете, гениальный критик?" — таковы были его привычные приветствия. Была в нем еще одна особенность: как я ни стараюсь, не могу вспомнить, чтобы его лицо когда-нибудь озарялось улыбкой. Он сохранял серьезность при всех обстоятельствах и думается, что некоторые каламбурные фразы или остроты, попадающиеся на страницах его писаний, сам он воспринимал отнюдь не в том ключе, в каком воспринимает их его читатель.

Собственно, вкусы его были весьма эклектичны. Он ценил Гойю или Делакруа, вероятно, больше, чем своих соратников по беспредметной живописи, французских романтиков или Бодлера больше, чем отца дадаизма Тристана Тцара, хотя в повседневной, маленькой жизни тот ему немало помог, не столько идеями, но скорее связями с торговцами картин, что далеко немаловажно для любого художника, даже для такого бессеребренника, каким был Шаршун.

Оставаясь в своем творчестве тем, кого по укоренившейся традиции принято называть "левыми", едва ли не анархистом, в быту он оставался консерватором и краснел, когда при нем кто-то решался рассказать рискованный анекдот. Хотя в свои писания он иной раз вставлял слова, которые не предназначены для печати, к ним он никогда в разговоре не прибегал. Больше того, как мне кажется, при нем было как-то неловко по-настоящему выругаться. Вместе с какой-то умудренностью в нем уживалась некоторая детская наивность и чистота.

Мне трудно сейчас судить о его бескрасочных полотнах, в которых он в последние годы своей жизни пытался воплотить те чувства, которые ему внушала музыка. Мне подобное стремление, идущее в России еще от утонувшего Чурляниса, кажется несколько еретичным, потому что никакое сочетание красок не способно передать звука, как — вопреки Рембо — буква не может передать краски, как не передают ее и гюисмановские смешения запахов. Каждая область искусства самоценна и "автономна", и мне малопонятно, почему иной раз Шаршун "живописует" концерт Баха, а в пругой, в почти аналогичной белой гармонии пытается воссоздать музыку Шумана или Чайковского, или Скрябина. Но, вместе с тем, было бы зазорно отрицать известное благородство его форм, его цветовых контрастов. При характерной для него тусклости и тяге к писанию белыми красками на белом фоне его холсты отсвечивают какой-то духовностью. Это не столька картины в общепринятом смысле, сколько поиски чего-то, что в конечном счете видимо только их творцу.

Отсутствие у него улыбки, свойство, которое я уже

упоминал, даже отсутствие хоть какой-то гримасы, которая часто неотделима от творчества последователей всяких изощренных и вычурных "измов", в еще большей степени проявляется в живописи Шаршуна. К его холстам можно придумать какой угодно метафизический комментарий, но их безрадостность лишнее свидетельство его размолвки с миром.

..Главное пело моей жизни это — вывести на чистую воду, разгрызть орешек, разобраться в сущности одного человека — что такое он есть? Я — единственный, доступный моему наблюдению субъект", — писал он где-то, а дальше: "Я не больше, чем сиделка у постели больного, неотступно его сопровождающий — на суще, на море и в воздухе... Мне от себя не отвязаться! Я неизлечим". И еще: "Моя тусклая "беззвездная" жизнь интереснее вымысла". Отсюда и пошло, что "герой интереснее романа", как он озаглавил серию — заметьте "серию" — своих прозаических произведений, центральное место в которой занимает его "Долголиков". И Шаршун, конечно, по-своему прав. От себя ему не уйти, как не уйти от своих колебаний, исканий, своей неуверенности в себе, от всего того, что его не переставало "есть поедом". Он был неизлечим, был не в силах отказаться от нависавших над ним видений, от слов, которые он сам себе подсказывал с жестом театрального суфлера. Это было двойственное положение: с одной стороны, он, действительно, всегда оставался самим собой, занозистым Шаршуном (почти предопределенная фамилия!), который никому не хотел подражать, ни у кого ничего не заимствовал или в редких случаях проводил свои заимствования сквозь такой густой фильтр, что все посторонние влияния оседали на его дне. Но с другой, по тем же причинам он не способен был до конца приобщиться к окружающему его миру. Ему до конца его дней не суждено было полностью в этом мире акклиматизироваться, быть его вполне полноправным сочленом.

"Долголиков", который по-гоголевски назван "поэмой", собственно, оказался предтечей того, что стало известно под именем "нового романа". В этой замысловатой книге нет логических сцеплений между

чередующимися главами, не вполне обозначено место и время действия, и читальне нередко в затруднении: он не уверен, хочет ли автор поведать ему о каком-то сне (хоть шаршуновский ониризм и чужд сюрреалистических устремлений) или о том, что конкретно приключилось с его героями, с которыми автор неожиданно утерял связь.

"Долголиков", как я отметил, назван "поэмой". Но у книги имеется еще и подзаголовок — "Из эпопеи "Герой интереснее романа" и здесь можно ощутить как бы намеренное единоборство заглавия с подзаголовком. Шаршун, видимо, хотел поставить ударение на герое, другими словами, на самом себе. Кроме того, он хотел заставить читателя считать, что его идеи, его переживания, даже его сновидения еще не доведены им до конца и оттого нельзя судить о целом по деталям.

Флобер когда-то обмолвился замечанием: "Мадам Бовари — это я", и над этой фразой должно было призадуматься. Шаршун не скрывает автобиографичности своей "поэмы", он намеренно ее подчеркивает, поскольку он заставляет своего якобы вымышленного героя совершать поступки или принимать непосредственное участие в некоторых эпизодах, известных по биографии Шаршуна и едва ли кем-либо когда-либо повторенных. Но, может быть, вопреки авторским замыслам, его "Долголиков" не лишен известной лиричности, потому что сам Шаршун не без налета дон-кихотизма привил книге "огонь своего энтузиазма". На страницах, созданных его фантазией, из российских просторов он переносится в непритязательные монпарнасские кафе и дальше — в некий фантастический лес, в котором Красная Шапочка уютно кутается в шерсть Серого Волка. Но, в конце концов, все одинаково далеко от конкретности, от подлинного пейзажа, от какой-либо "couleur locale". В "Долголикове", буквально, в каждой строке ощущается по слову автора — "неразмыканная напряженность".

Потому-то для Шаршуна так характерна фраза: он подошел к зеркалу и увидел, что оно ничего не отражало. "Куда ты девался?" — воскликнул он в испуге и "выплыл из мрака". Эта фраза рельефно харак-

теризует все его творчество, которое он сам определял как некий "папинов котел", который может взорваться, если его лишить необходимого ему клапана.

Я не думаю, чтобы Шариун мог вспоминать Достоевского, единолично издававшего свой "Дневник писателя", когда, начиная с 1922-го года, он под разными названиями стал выпускать свои листовки (выпустил он их с полсотни номеров), которые с некоторой натяжкой тоже можно было бы назвать "Дневником писателя". Сперва он составлял их в ортодоксально дадаистическом ключе, но постепенно его записи, его афоризмы, становясь менее вызывающими и менее пронзительными, делались более общепонятными. Их можно было оспаривать, кое в чем с ним можно было соглащаться, можно было почувствовать, что их автор очень одинокий и очень культурный человек, часто стесняющийся показать свою культурность, свое всезнайство и всячески старающийся прослыть "примитивом". Но, может быть, основное в Шаршуне было то, что он, как сам в этом признался, неизменно "из своего парижского окна любуется венецианским дворцом Дожей". Это бесспорно уравновешивает многие его чудачества и делает понятным, что для этого крайнего эгоцентрика "люди, говорящие басом, были — не его круга".

Ряд художественных критиков и критиков литературных при жизни воздавали ему хвалу, иногда, пожалуй, преувеличенную. Но если вдуматься, то все же придется придти к заключению, что его дар по-настоящему был оценен только немногими "счастливцами", "happy few", как говорил Стендаль. Если иные из ценителей его творчества готовы были уверять, что Шаршун будет полностью оценен через какие-нибудь полстолетия, и тогда очкастые литературоведы примутся изучать его черновики, то этому можно верить или с таким же правом в этом сомневаться. Но,с другой стороны, обращаясь к прошлому можно аллегорически утверждать, что в этом городе, в котором он жил (и где бы он ни жил) для него, собственно, не было места. Повсюду он был как бы "не к месту" и в какой-то мере в любом круге, даже среди своих почитателей или людей, которым он сделал много добра, он оставался чужаком. Это его свойство и внушило мне в самом начале вспомнить о фразе, оброненной Платоном в его "Республике". Конечно, Шаршуна ни откуда не "тнали", но, может быть, тем хуже для него.

карамзин и достоевскии

Хлеб для меня— материальный вопрос, но хлеб для моего ближнего— вопрос уже духовный.

Н. Бердяев

Издавна прославляется благодетельный человек и порицается себялюбец, ленивый и тому подобные. Обычно воздается человеку по делам его. Так в Книге Притчей Соломоновых: "похвала прилежному земледельцу" (гл. 27), а хула — "полю человека ленивого" и "винограднику человека скудоумного" (гл. 24); всё это заросло терном, покрылось крапивою, каменная ограда обрушилась... И тогда прохожий обратил сердце своё и получил урок: "Не много поспишь, не много подремлешь, не много, сложив руки, полежишь", ибо следствием праздной лени явятся неминуемые бедность и нужда.

Добро всегда активно. И если Иисусу, согласно Евангелию от Иоанна, хватило "пяти хлебов ячменных и двух рыбок" для насыщения множества — около пяти тысяч голодных, то некий славный современник Н. М. Карамзина Фрол Силин — благодетельный человек — вполне реально мог четырымя скирдами обмолоченных хлебов кормить целый год бедноту своей деревни. Нет у Карамзина в этом очерке никакого "чуда" цифрового преувеличения, ведь в русских легендах даже хлеб из горькой лебеды, изготовленный с любовью к страждущему, был сладок и безразмерен. И Бог его знает, кого "повторил" естественный порыв сердобольного Силина, призвавшего селян пособить ему обмолотить скирды

четыре пшеницы и взять сколько им надобно на весь год. Добродетель вовсе не претендует на роль подвига, котя и встречается в чистом виде реже надобности в ней. Тем отраднее вспомнить карамзинский гимн простому христианину-труженику, котя бы ещё и потому, что по сей день не смолкает силинская тема в литературе.

Помнится, Лев Толстой восхищался незатейливой вещью Т. М. Бондарева — "Торжество земледельца или трудолюбие и тунеядство". Там доказывалось, что грех (то есть ошибки, ложные поступки) происходит только от отступления от важнейшей заповеди Св. Писания: "в поте лица будешь есть хлеб твой". Лишнее дать неимущему и творить насущное своими руками — тогда, по мнению Толстого, может возникнуть такая ситуация, ,,что человек не будет иметь соблазна необходимости хитростью или насилием приобрести хлеб...". Ах, если бы этот закон между людьми стал всеобщим, а не только милостынно-частными случаями обыденной жизни, — тогда всё было бы лучше, ну, пусть, не до степени толстовской уверенности — "...не имея этого соблазна, он не будет употреблять насилия или хитрости", но хотя бы частично осуществилась любовь к Богу и ближнему, как самому себе. Но мир уже давненько всё дальше от Бога и ближе к концу, стало быть. Тем ярче на фоне медленных сумерек вспышки голосов, призывающих современников, как Иоанн Богослов когда-то, любить друг друга, творить добро. Карамзин, вслед за масонами, признавал благотворительность основой отношений между людьми, справедливо полагая, что достаток во многом зависит от самого селянина. Так. отец бедной Лизы "был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работать, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь". Зажиточность была прямым следствием умного трудолюбия и праведной жизни. И это неоспоримо верно. Тип человека, живущего "трудами рук своих", отстаивается Толстым, оправдывается формулой прогресса Н. К. Михайловского и, наконец, санкционируется народным сознанием. Иван Ермолаевич Глеба Успенского ("Крестьяне и крестьянский труд") и "хозяйственный мужичок" Салтыкова

с виду общи, но, в сущности, ещё как различны: первый любит землю — отсюда в его жизни стройность, гармония, красота, а второй — мельтешит в копеечных рассчетах и сам мелок без прямого радостного общения с землей. Земля способна "выпрямить" горбатость человеческую...

Не будем противопоставлять, как Достоевский делал, Мадонну Рафаэля — символ "духовности" и "скуку телег", подвозящих хлеб голодному человечеству; ибо "арифметическое счастье" бездуховного бытийства выпукло показал он же. И лесковские "очарованные странники" противостоят по духу меркантильно-утилитарной пошлости, "духовным трихинам", "фальшивым купонам". Гончаров ("На родине", "Слуги старого века", особенно "Обрыв") в синтезе "бабушкиной морали" и подлинного прогресса видел будущее России. "Угол буддийского спокойствия" под спасительной сенью сохи будет построен в 80-е годы XIX русского века.

Противопоставления разных форм мировосприятия началось ещё до петровских реформ: в выборе средств к водворению и обеспечению возможного блага сосредоточивается, как заметил митрополит Антоний, спор между христианской религией и независимой культурой. Одним из важнейших мнений в защиту ..исконно русских начал" и преданности вере явился, в "Записке о древней и новой Руси" голос Карамзина, спор которого с "Проектом" Сперанского считается предварением будущего спора между славянофилами и западниками (С. А. Левицкий на десять лет раньше академика Д. С. Лихачева отметил печатно этот факт). "Православный русизм" ничего общего не имел ни с квасным патриотизмом, ни с государственным империализмом. С дружинным богатырством, оторванным от земли, было покончено в целом, когда крестьянин-пахарь предстал богатырем.

Своеобразное богатырство Фрола Силина отразилось в русской литературе как начало филантропического направления (проф. А. И. Кирпичников). Именно "Фрол Силин" — "первое звено той цепи, — утверждал Киреевский, — которая через романс Пушкина "Под вечер, осенью ненастной" тянется до "Униженных и оскорб-

ленных" Достоевского". Частично через пушкинские ..Повести Белкина" петляет путь от Карамзина к Достоевскому. Толстой, как неэвклидовец-геометр Лобачевский, исключил из традиционной системы ценностей свою "аксиому о параллельных": на первое место в иерархии ценностей он выдвинул добро, затем правду и только в конце нашлось место "аксиомному" прекрасному. Только доброй красоте — мир спасти, пожалуй. А так, как пустая кукла у Опоевского, что пуши и опного-то не отогрела, — была выброшена владельцем её в окно. Неприкаянная старушка, забытая людьми, одиноко умирает. Это у Бунина, "Федосевна" (1891), как потом случится в "Матренином дворе"...Очень важно выразился Лев Мышкин у Достоевского: "Осел добрый и полезный человек". Сузился и заметно очерствел душевный мир уже во времена Карамзина. В сознании Мандельштама — это уже трагедия Парнока и самого автора, и самого сознания как такового, что и позволяет в прозе поэта усмотреть эмбрион кафковский, сумерки гетевского сознания.

Фразу князя Мышкина Толстой считает непростительным промахом, ибо не заметил он реакции Епанчиных на неё, непостижимо умную глупость. Видно, не почуял Толстой трагикомической сути выстраданной обмолвки во многом автобиографического героя Достоевского, ведь и не могли же сестры Епанчины "привычно высмеивать" только что встретившегося им христообразного недолечившегося Мышкина, некий эталон совести, лик блаженного в кривом зеркале мира. Сложна духовная феноменология русского юродства; как секуляризованное отражение святого юродивого —Ивандурак, своеобразный христианский подвижник, который трудами праведными выполняет, как правило, непосильное другим — восстанавливает нарушенное единство стародавнего миропорядка, чем-то напоминая деяния славянофилов, упрочивших по-стефановски идею древней Руси, искаженную в Москве XV века византийской реакцией универсального царства... Сельский филантроп и расчудаковатый вконец Иванушка — козел отпущения. Это собратья по крови, хотя могут быть и не с одной печи или заваленки. Благодетели, благотворители. От такой "литературной филантропии" было рукой подать до чуткости ко всякого рода униженным и оскорбленным: начиная с Гоголя, Григоровича, Достоевского, Толстого и до наших дней. С сего времени, говорил Карамзин в "Письмах сельского жителя" (1802), добрый земледелец есть первый благодетель рода человеческого и полезнейший гражданин в обществе. Таким образом, Карамзин, обратившись к добрым селянам, расширил рамки наблюдений беллетристики путем привлечения к изображению в литературе "подлых" сословий, чем невольно канонизировал развитие русской демократии. Возможно от Карамзина, во всяком случае, — через него, его очерки "Чувствительный и холодный" - эмбрион многих антитетических пар героев русской литературы середины XIX века — пошли сопряженные литературные характеры: "вода и камень", "лед и пламень" — Онегин и Ленский, Печорин и Грушницкий, Базаров и Аркадий Кирсанов, Обломов и Штольц и т.д., но и очевидно "два огромных типических характера", созданием которых в "Селе Степанчикове" восторгался сам автор. Достоевский, после каторги. И являли те характеры полярные личностные крайности — "смирные" и "хищные", несоединимые, взаимопросачивающиеся или не неразрывно связанные, когда из "смирного" типа нет-нет да выходил вдруг самый что называется "хищный" тип. Вот и Страхов вполне допускал смешение черт этих типов хотя бы в образе Пьера Безухова да и, как утверждал С. Бочаров, Ап. Григорьев даже возводил противоборство этих начал в норму русского национального характера. Трусоцкий ("Вечный муж") бросился с бритвой на Версилова не потому, что "хищность" победила в его характере, а именно вследствие "смирности"; и это новое психологическое качество. В общем, Достоевский всё это понял на печальной заре расцвета своего творчества. Как рудимент языкового влияния Карамзина, по мнению Тынянова, следует рассматривать даже такое, как "мефитический воздух" ("Записки из Мертвого дома"), "инфернальный" причем, как элементы некомического эффекта внедрения в текст иностранных слов, без комической окраски. Но главное для нашего разговора та с виду незначительная фраза Карамзина, от которой начнется и позднее толстовство: "Кто презирает крестьянина, тот недостоин питаться хлебом" ("Детское чтение", 1785, ч. 3, с. 25), и колхозный соцреализм (да простится сопоставление всуе).

Карамзинство оказывается долголетнее, чем считали. Даже в пушкинском описании Полтавского боя Ахматова предполагала наличие карамзинского описания баталии этой. "Историю" Карамзина знал почти наизусть, как настольную книгу, Достоевский, который по его собственному признанию, "возрос на Карамзине" (письмо Н. Страхову, 2-14 декабря 1870). На "Историю" Карамзина он ссылается в "Униженных и оскорбленных", в "Идиоте", в "Дневнике писателя" за разные годы (1873, 1876), в статьях 1861 и др. "Историю Государства Российского" он читал и перечитывал неоднократно. Не от Карамзина ли —усугубителя чувственного порыва — проходит через всё творчество Достоевского. вплоть до "Братьев Карамазовых" (А. С. Долинин), "струя сентиментальная"? Пожалуй так, ведь и в "Бедных людях", и в "Униженных и оскорбленных", и в замысле "Пьяненьких", осуществленном в образе Мармеладова и его семьи, и в образе Илюши постоянно, говорит А. В. Чичерин, скрывается усиленное, обостренное развитие карамзинских мотивов.

Образ автора в "Письмах русского путешественника" и повествовательный строй "Истории Государства Российского" особенно близки Достоевскому. Поразительная светочувствительная открытость всем впечатлениям бытия, самозабвенная восторженность в обращении к людям, ради свидания с которыми Карамзин предпринял своё путешествие. — это всё, по мнению Чичерина, запечатлелось у Достоевского навсегда. Недаром и в 1863 году, едва приступив к своим путевым записям, он вспоминает Карамзина, ставшего на колени перед рейнским водопадом: возвращаясь из Парижа, я увидал собор во второй раз, я было хотел 'на коленях просить у него прощения' за то, что не постиг в первый раз его красоту, точь-в-точь как Карамзин, с такой же целью становившийся на колени перед рейнским водопадом..." ("Зимние заметки о летних

впечатлениях"); или он вместе с путешествующим Карамзиным умилительно радуется созванию "национальных штатов" в 89 году ("Дневник писателя за 1877 год"), или неоднократно ликует, нечаянно реагируя на те или иные события по-карамзински: "... путешествующий по Европе молодой Карамзин смотрел с умилительным дрожанием сердца на то же событие..." (Дневник писателя за 1877 год).

Чтение книг Карамзина — один из питательных источников в колебательном самодвижении Достоевского к славянофильству: из этого-то (гражданского) чувства я передался было к славянофилам, думая воскресить мечты детства (читал Карамзина, образы Сергия, Тихона) ..." ("Лит. наследство", т. 77, с. 342).

На образе замечательного Фрола Силина неоднократно концентрируется внимание Достоевского, измеряющего силинством разные величины, как например: "...Точно на луне или в "Марфе Посаднице" Карамзина. Какая действительность! Да тут все, решительно, все — Фролы Силины, благодетельные человеки!" Писатель восклицает, котя и сознает при этом, что далеко не всё в Карамзине, как и в славянофильстве, в частностях, достойно безоговорочного поклонения: нашему реалисту-психологу сродни, но тем и заметнее, что именно несколько мечтательный элемент славянофильства иногда и доводит его "до совершенного неузнания своих и до полного разлада с действительностью ...", определение которой действительно не укладывается в такую например, одномерность, как утверждение Достоевского, что Пушкин — "первый славянофил"...

Нет, Достоевский в принципе прав: у славянофилов между собой действительно было не всё гладко, но призма почвенничества, через которую писатель, особенно последнего своего периода жизнедеятельности, взирал на мир, — увеличивала иногда до досадного преувеличения то, что, если и было, то всего лишь в зачаточном состоянии (например, несколько преувеличенная роль Евгения Онегина — Пушкинская речь).

Оценка Карамзина Достоевским двойственна. Не

совсем ясно и то, как в конечном счете подытожил Достоевский "Фрола Силина". Обратимся к двум сценам в "Селе Степанчикове":

- 1. "... Знаешь, сказал помещик Ростанев, добрый дядкижа, обращаясь к рассказчику, и как-то сияя от радости, любит мужичок доброе слово, да и подарочек не повредит. Подарю-ка я им что-нибудь а? как ты думаешь? Для твоего приезда... Подарить или нет?
- Да вы, дядюшка, какой-то Фрол Силин, благодетельный человек, как я погляжу.
- Ну, нельзя же, братец, нельзя; это ничего. Я им давно хотел подарить, прибавил он, как бы извиняясь..." (т. 2, 1926, 317).
- 2. " ...если я и уважаю за что бессмертного Карамзина, то это не за историю, не за "Марфу Посадницу", не за "Старую и новую Россию", а именно за то, что он написал "Фрола Силина": это высокий эпос! это произведение чисто народное и не умрет во веки веков! Высочайший эпос!
- Именно, именно, именно! высокая эпоха! Фрол Силин благодетельный человек! Помню; читал, еще выкупил двух девок, а потом смотрел на небо и плакал. Возвышенная черта, поддакнул дядя, сияя от удовольствия.

Бедный дядя! он никак не мог удержаться, чтоб не ввязаться в ученый разговор. Фома злобно улыбнулся, но промолчал..." (355).

Пожелание Фомы, чтобы изобразили, как "селянин и вельможа, столь разъединенные на ступенях общества, соединяются, наконец, в добродетелях" (355), созвучно рассуждению в "Разговоре о счастии" (1797), что счастье доступно каждому, кто имеет доброе имя, покойную совесть, любит родных и друзей: "вот истинное благополучие, которое соединяет всех людей; которое царю и земледельцу дает чувствовать, что они братья". Но, давая оценку повести "Фрол Силин" сло-

¹ Н. М. Карамзин. Сочинения, т. VIII, Изд. 3, М. 1820, с. 177-178.

вами заведомо комического персонажа, Достоевский "обращает свою иронию не на Карамзина... Образ Фрола Силина появляется у Достоевского как пример полного непонимания мужика и как начало тенденции. завершавшейся "Письмом русскому помещику" и "Письмом о суде и расправе", рецепты которых совпадали с практическими советами Карамзина в "Письме сельского жителя". Эту же аналогию между Карамзиным и Гоголем нарочито отметил Добролюбов, воспользовавшись тем же самым примером, чтобы подчеркнуть неполное проникновение Гоголя в "тайну русской народности". 2. "Он хотел представить идеалы, которых нигде не мог найти. — писал критик об эволюции Гоголя от первого ко второму тому "Мертвых душ". — Он, не в состоянии будучи шагнуть через Пушкина до Державина, шагнул назад до Карамзина: его Муразов есть повторение Фрола Силина, благодетельного крестьянина, его Уленька — бледная копия с бедной Лизы",3

Но всё зависит от угла зрения. Так, с легкой руки критика Михайловского — полковник Ростанев "есть настоящая овца, смирная и благолушная по глупости", 4 — историки литературы почти единодушно усомнились в справедливости положения Достоевского о том, что в "Степанчикове" выведены "два огромных типических характера...". Дядюшка Ростанев, воплощающий стихию добра, ласковость и чуткость прекрасного, чистого сердцем, целомудренного человека, - исключался совершенно незаслуженно из "огромных типических характеров". Такая же участь постигла в новейшие времена и Фрола Силина. И этого следовало ожидать, ведь уже тогда, как рассказывает Карамзин, "крестьяне остолбенели от удивления ибо и в городах, и в селах великодушие есть редкое явление!..."

² В. П. Степанов. "Повесть Карамзина "Фрол Силин", в сб. "XVIII век", № 8, Л., 1969, с. 243.

³ Н. А. Добролюбов. Полное собр. соч., т. I, Л., 1934, с. 237.

⁴ Н. К. Михайловский. "Литературно-крытические статьи", М. 1957, с. 197.

Да, "XVIII век кончается, и несчастный филантроп меряет пвумя шагами могилу свою, чтобы лечь в нее с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки". Эти выстраданные строки Карамзина вошли в предисловие к "Письмам с того берега" Герцена. Такова аллегория в функции морально-назидательной. Это не "томно-слезливая мелодрама", не "перепроизводство чувства", не "приторнопритворное" поучение. Это реализация идеи добра в погибающем мире. Жуковский вполне прав, назвав Карамзина своим "евангелистом". В рассуждении "О любви к отечеству и народной гордости" есть такие слова: "как человек, так и народ начинает всегда подражанием, но должен со временем быть собою, чтобы сказать: я существую нравственно". И это, думается, главное — смысл поучительный благодетельного труженика.

"СТРАХ РОССИИ"

(Судьба В. С. Печерина)

Символический, почти прообразовательный характер имеют некоторые русские судьбы прошлого века для нас — русских второй половины XX века. Странная повторяемость ситуаций, параллелизм жизненных мотивов, идеи, которые вновь обретают острую злоболневность...

Можно было бы напомнить, по крайней мере, о двух русских судьбах, которые не могут не представлять интереса для многих из нас, новейших беженцев из России, особенно — в резком, контрастном своём духовном противостоянии. Это — А. Герцен и Вл. Печерин.

Не суть ли две эти судьбы — два "архетипа", два указания, два символа: заблудившихся на чужбине "русских скитальцев" — "с мировой тоской", и с неизлечимой ностальгией по страстно любимой и пламенно проклинаемой России? Их опыт любви и ненависти — может ли чему-то научить нас, и способны ли мы внять их предостережениям, избежать их ошибок? Чему они нас учат: если мы ещё способны научиться чему-то из прошлого?

Как сладостно-отчизну ненавидеть, И жадно ждать её уничтоженья, И в разрушении отчизны видеть Всемирного денницу возрожденья!

Эти "безумные строки" принадлежат Владимиру Сергеевичу Печерину (1807-1885 г.г.) — "одному из

первых русских эмигрантов", по определению Н. Бердяева.

Именно Бердяев в "Русской идее" поставил рядом (сопоставление, само по себе напрашивающееся для тех, кто помнит заключительные главы "Былого и дум") Печерина и Герцена, сказав, что они "представляют у нас религиозное западничество, которое предшествовало самому возникновению западнического и славянофильского направлений".*)

И у Герцена можно найти немало слов о России, в которых не знаешь, чего больше: горечи или яда, но в которых тоже, как у Печерина, любовь пробивается и сквозь самые хлёсткие обвинения, пристрастные нападки, саркастические обличения.

Первый вопрос, который напрашивается и требует ответа: диалектика любви и ненависти, мотивы бегства из России. В настоящей статье ограничусь рассмотрением "случая" В. С. Печерина.

Оговорюсь немедленно: ни в коей мере не принадлежу я к тем, для кого нет принципиальной разницы между Россией "царской" и "советской", для кого суждения маркиза де Кюстина до сих пор остаются ключом к пониманию нынешней советской империи, и кто в преступлениях Сталина ищет разгадку эпохи Ивана Грозного. Несомненно, в сознании сторонников и такой точки зрения присутствует духовный образ России — пугающей и нелюбимой, отношение к которой (прежде отношения к коммунистическому режиму) послужило главным мотивом бегства на Запад. Не в этом ли и проявляется глубинное родство "первых эмигрантов": Печерина и Герцена — с позднейшими, новейшими?

"Страх России — роман жизни" — так называется одна из глав посмертно изданной М. Гершензоном книги В. С. Печерина, образовавшейся из поздних писем его в Россию своему племяннику. Книга была озаглав-

^{*)} Н. Бердяев. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века, Париж, YMCA-press, 1971, стр. 40.

лена — по желанию самого Печерина — шатобриановским громким названием "Замогильные записки". Изданная в 1932 году кооперативным издательством "Мир" "под редакцией, с введением и примечаниями" Л. Каменева-Розенфельда, она, практически, исчезла из обращения спустя четыре года после московских процессов над "левой оппозицией" Каменева и Зиновьева и их расстрела. Книга, которая по духовному своему смыслу достойна стоять рядом с "Былым и думами", остаётся до сих пор известной лишь малому числу специалистов.

Итак, страх России... Печерин пишет: "Важнейшие поступки моей жизни были внушены естественным инстинктом самосохранения. Я бежал из России, как бегут из зачумлённого города. Тут нечего рассуждать — чума никого не щадит — особенно людей слабого сложения. А я предчувствовал, предвидел, я был уверен, что с моим слабым и мягким характером, я бы непременно сделался подлейшим верноподданным чиновником или — попал бы в Сибирь ни за что ни про что. Я бежал не оглядываясь для того, чтобы сохранить в себе человеческое достоинство".*)

Откуда же появился, как зародился этот "непомерный страх России" — у сына русского офицера, ещё в детстве потрясённого "историей смерти Спасителя" и мечтавшего с тех пор "умереть за благо народа и видеть мать, стоящую у подножия моего креста"?

Характерно, что первое знакомство со Священным Писанием будущий католический монах получил не из русской Библии, а — из немецкого переложения "Ста четырёх священных историй" протестанта Гибнера (1668-1731 г.г.). Учебными книгами его в российской провинции 20-х годов XIX века были: "Речи о всемирной истории" Боссюз, "Генриада" Вольтера и, конечно, Ж.-Ж. Руссо ("Эмиль"). Учитель — молодой немец, отлично говоривший по-французски, который был "пламенным бонапартистом и вместе с

^{*)} В. С. Печерин. Замогильные записки. Изд-во "Мир", 1932, стр. 115 (в дальнейшем указываю только стр.).

тем отчаянным революционером" — в 1821 году. Кем мечтал видеть он своего воспитанника? Вот образец его наставлений, приводимый Печериным: "Учитесь, развивайтесь... Кто знает, что вам суждено в будущем? Быть может, какая-нибудь благодарная нация(!) выберет вас своим первым консулом..." (с. 21).

Не удивительно, что и первое знакомство с православием у воспитывавшегося по Эмилю в глубине Киевской губернии сына бедного русского майора оставило в душе и памяти следы скорее непрятные (если это не позднейшая, хотя бы и подсознательная, "корректировка" брата-редемпториста).

Впрочем, решающее влияние на юного Печерина имели события 14 декабря: "полковник Пестель был нашим близким соседом", — сообщает он (с. 23). Его старшие друзья, имевшие "неограниченное доверие" к своему восторженному ученику, "без малейшей застенчивости обсуждали передо мной планы восстания, и как легко было бы, например, арестовать моего отпа..." (23).

И вот, кажется, первый мотив, первая тонкая ниточка — из "запутанных нитей разнообразных причин" (с. 115), побудивших Печерина оставить родину. Он задаётся "любопытным вопросом": что сделал бы он в решающую минуту — он, знавший о планах заговорщиков? Зная Печерина, трудно сомневаться, что он ради "дружбы" пожертвовал бы и отцом родным; однако, он сам не вполне уверен в себе. "... Может быть, по русской натуре я сподличал бы в решительную минуту, предал бы друзей и постоял бы за начальство?" — мучится он сомнением спустя сорок лет. Русская натура — то есть постоянные сомнения, неуверенность в себе, переменчивость, боязнь самого себя — эта тема проходит через всю книгу, сливаясь подчас с темой "страха России".

Печерин пишет о "русской переимчивости, податливости, умении приноровиться ко всевозможным обстоятельствам", (с. 150) — пишет об этом с отвращением, проклиная свою русскость и не будучи в силах избавиться от неё. Печерин не щадит себя, в своих самообличениях он далеко превосходит Руссо с его "Ис-

поведью", приближаясь к героям Достоевского. При этом "русскость" парадоксальным образом оказывается у него плодом исторических условий и неким неумолимым роком: "Какого благородства от нас ожидать? Рабами мы родились, — рабами мы живём, — рабами и умрём" (28). И он цитирует поэта: "Рабы влачащие оковы, высоких песней не поют!"

Страшным, гоголевским призраком перед будущим профессором Московского университета маячит образ "верноподданного чиновника николаевского времени" (28), "шпионствующая Россия" (134). И — в то же время — "всего более меня ужасал в России стёганый халат" (154). Таким образом, с одной стороны — "непомерный страх России", как "страх от Николая" (115), но, с другой, — всё та же русская натура, материализующаяся и в стёганом халате.

Каким образом сформировался этот странный характер — быть может, один из первых русских "католических характеров" (слова В. Розанова о Вл. Соловьёве).

Мы уже упомянули о первых чтениях юного Печерина. Сам он признаётся — совершенно в духе героев Достоевского: "Вся жизнь моя сложилась из стихов Шиллера, особенно из двух поэм: "Sehnsucht" и "Der Piligrim" (27). Мы знаем, что и сам Достоевский пережил страстное увлечение Шиллером, и что тема шиллеровского прекраснодушия — русского "мечтательства" прошла через всё его творчество. У Печерина это воплотилось в жизни. И он проклинал это свойство русской натуры, эту беспредметную восторженность, находящую себе постоянно новые объекты.

Но едва ли не более сильным было у Печерина увлечение Байроном, что сближает его — с Лермонтовым. Что же поразило русского мальчика из провинциальной глуши в английском поэте? "Как я упивался его ненавистью!" (с. 34) — читаем мы странное, страшное признание. Ненавистью — к родине! Это чувство "скуки, досады, грусти, отчаяния, ненависти ко всему окружающему, ко всему родному, к целой России" (там же) сочеталось у юного Печерина с "каким-то странным влечением к образованным странам"; очень ра-

но испытал он "какое-то тёмное желание переселиться в другую, более человеческую среду" (с. 32). Очень легко в духе "вульгарного социологизма", до сих пор господствующего в советском литературоведении, сделать вывод о "невыносимых условиях николаевской эпохи". Но это ровным счётом ничего не объясняет.

Нечто подобное — безотчётное тяготение к Западу — переживал мальчик Лермонтов (впрочем, в сознании родственной связи с предками на Британских островах):

На Запад, на Запад помчался бы я, Где цветут моих предков поля... (1831 год)

Но Лермонтов, прошедший тот же, обязательный для молодого русского дворянина цикл европейского образования, окружённый иностранными гувернёрами, достаточно рано почувствовал в себе — "русскую душу". Причём, именно Байрон, вызвавший у Печерина цитированные "безумные строки" о ненависти к отчизне — пробудил в Лермонтове сознание своей русскости.

Нет, я не Байрон, я другой, Ещё неведомый избранник, Как он гонимый миром странник, Но только с русскою душой... (1832 год)

Быть может, Печерину "не хватило" лермонтовской гениальности? Или его — несомненно русская душа — раскрывалась миру таким образом: в проклятиях и скрежете зубовном, в горьких сожалениях и ламентациях, в никогда не окончившихся поисках источника вины?

Остаётся что-то непонятное в подогретой ненависти Печерина "к целой России". Взаимоотношения с отцом? Томление в бескультурной среде одарённого, с широкими запросами юноши. Рано усвоенные идеалы европейского либерализма? Всё, вместе взятое, и плюс что-то ещё.

"На кого тут жаловаться? Тут никто не виноват. Тут исполняется просто вечный и непреложный закон природы, перед которым все одинаково должны преклонить главу... Это — закон географической широты. Жалоба моя столь же основательна, как если б какая-нибудь русская ёлка или берёзка, выросшая под архангельским небом, вздумала плакаться на то, зачем-де она не родилась пальмою или померанцевым деревом под небом Сицилии!" (с. 35).

Это противопоставление "русской ёлки" "пальме" вызывает лермонтовскую ассоциацию ("На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна").

Не подсознательное ли это, сильнее нас, тяготение — у одних сублимируемое поэтической музой дальних странствий, у других — выливающееся в инстинктивный порыв просто бежать, бежать подальше, куда глаза глядят? В основе этого чувства — недовольство собой, настоящим, окружающим.

"Кажая тайна — развитие человеческого растения! Почему это семя пустило корни в таком, а не в другом направлении? Зачем же оно не раскинулось шире и роскошнее? Зачем такие бледные цветы, такие тощие плоды? А ведь стремление соков, желание развития было великое! Недоставало, может быть, воздуха, солнца и благотворного дождя. Русская зима убила всё на корню!.." (с. 32)

Ещё одна неизбежная лермонтовская ассоциация — известные строки из "Думы", прямо перекликающиеся со словами Печерина о "тощих плодах":

... Так тощий плод, до времени созрелый, Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, Висит между цветов, пришлец осиротелый... (1838 год)

И в целом, приведённые цитаты из посмертных записок В. Печерина кажутся (и во многом являются действительно) исчерпывающим комментарием к лермонтовской "Думе". Он — представитель того же поколения, и поразительное сходство — почти совпадение

фамилии "Героя нашего времени" и его — есть искушение считать не случайным.

Итак, мотивы бегства Печерина за границу (история которого подробно рассказана М. Гершензоном в его книге "Жизнь Печерина") представляются достаточно ясными. Но чем, всё же, объясняется его страх России?

Врождённое, или воспитанное Шиллером и французскими риторами свободолюбие было его определяющей страстью, которая и превратила всё его существование в la vie mouvementée — по выражению одного новейшего исследователя. С гордостью признаётся Печерин в "Замогильных записках". "Я никогда никакому правительству, даже и русскому царю не присягал" (с. 85). Быть чиновником — т.е. "на службе", в подчинении, зависеть от кого-то — одна эта мысль его ужасала. Даже покровительство казалось ему оскорбительным; во всяком случае, он избегал всячески и такого рода зависимости. Это видно из истории его отношений с масонами: от них его оттолкнул... дух взаимной поддержки и солидарности. "Ну что ж это такое? думал я, ведь это то же, что у нас в России: нельзя ли как-нибуль" (85-86).

Печерин был убеждён, что сами условия российской действительности воспитывают в каждом — верноподданного чиновника (хотя его пример говорит как раз об обратном). Отсюда — его "ожесточение против России" (167). Но, вместе с тем, встречаем у него и такое характерное признание — как и все остальные, предельно искреннее: "Таков был дух нашего времени или по крайней мере нашего кружка: совершенное презрение ко всему русскому и рабское поклонение всему французскому, начиная с палаты депутатов и кончая Jardin Mabile-ем (увеселительный сад в Париже)" (с. 70-71).

³ François Patrinonid. Le Père V. S. Petcherine. Une vie tumultueuse et une pensée non conformiste — "Пламя" Octobre 1977 № 48 (Meudon) р. 109 (в статье перечислены некоторые западные работы о Печерине).

Но это добровольное рабство чужому — свойство самой русской натуры? Ведь не может оно быть про-изводным от "условий". Кажется, Печерин склоняется именно к такому ответу.

И, вместе с тем, ещё одно, самоубийственное признание: "Брошюрка Ламенэ заставила меня покинуть Россию и броситься в объятия республиканской церкви" (с. 81). Важен здесь не Ламенэ, через увлечение христианским социализмом которого прошёл и Достоевский. Печерин прямо пишет: "Книги имели решительное влияние на главные эпохи моей жизни. Да ещё бы ничего, если бы это были настоящие книги... а то нет: самые ничтожные брошюрки в каких-нибудь сто страниц решали судьбу мою навеки веков" (там же).

Это заставляет вспомнить мало кому известные строки Гоголя из неотправленного его ответа на "знаменитое" письмо Белинского к Гоголю. Писатель (тоже — современник Печерина) с горечью писал об этой именно пагубной наклонности многих русских: "Нельзя, получа лёгкое журнальное образование, судить о таких предметах. Нужно для этого изучить историю Церкви. Нужно сызнова прочитать с размышлением всю историю человечества в источниках, а не в нынешних лёгких брошюрках (подч. мною — Е.В.), написанных Бог весть кем". И дальше — о "современных брошюрах, написанных разгорячённым умом, совращающим с прямого взгляда."

"Брошюрки" внесли свой вклад в возникновение "страха России" у Печерина, помогли сложению его мировоззрения, в котором Россия заняла место — с отрицательным знаком. Но "русская совесть" — "священный долг служить царю и отечеству" (что свойственно, считает Печерин, русскому и англичанину, и чего нет у французов) (с. 136, 83) время от времени давала о себе знать. Отсюда — исключительнай сложность этого загадочного комплекса в душе несомненно

⁴ М. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, т. XIII, М., 1952, стр. 440-441, 445.

русского, и оставшегося таким до конца, но умершего католическим монахом на чужбине Владимира Сергеевича Печерина.

Он первый назвал этот комплекс по имени: страх России. Это было, есть и, видимо, останется, если суждено ещё быть России. Были и есть испытывающие его дети России. Осудим ли мы их или пожалеем? Последняя оценка принадлежит — не нам.

д. А. ОБЛЕУХОВ

В содержательной статье Виктории Андреевой "Киреевский и Чаадаев" ("Гнозис" № 2), к сожалению, вслед за А. И. Кирпичниковым и М. О. Гершензоном, приписавшими "Memoire sur Geistkunde" перу Чаадаева, повторяется та же ошибка. Между тем, как показал Д. И. Шаховской (в своей статье "Якушкин и Чаадаев" (сборник "Декабристы и их время", П. М. 1932) эти записи принадлежат малоизвестному философу Д. А. Облеухову. Автор этих строк в своё время (как и Шаховской) предпринимал тщетные попытки разыскать рукописи Облеухова. Но судя по письмам его сына Д. Д. Облеухова (ЦГАЛИ, фонд Елагиных-Киреевских № 236), они были утрачены уже к 1854 году, когда тот составлял краткую биографию отца для "Истории Московского Университета" (М., 1855) С. П. Шевырёва. В письме к Н. А. Елагину от 20 апреля 1854 года он прямо говорит, что "бумаг после отца у меня никаких не осталось", кроме официальных документов.

Итак, приведём здесь основные известные данные об Облеухове, дополнив их сведениями из архива Д. И. Шаховского (Пушкинский Дом, фонд 334, ед. 159, 174, 885, 886) и некоторыми собственными разысканиями. Дмитрий Александрович Облеухов родился 19 сентября 1790 года в семье артиллерийского генерала. Он получил хорошее домашнее образование, занимаясь в основном математикой и языками (в юности он знал пять европейских и два древних языка, потом самостоятельно изучал древнееврейский, а незадолго до смерти — арабский и персидский). В 15 лет он поступил в Московский университет, где уже через год получил степень кандидата, а в 1807 г. — магистра словесных на-

ук. В 1811 г. он защищает диссертацию "О главных основаниях равновесия и движения" на степень доктора физико-математических наук. С этого же года он член Общества истории и превностей Российских. Участвовал в Отечественной войне, за что был награждён медалью. Все, знавшие Облеухова, говорят о его слабости и болезненности. Очевидно поэтому он вёл замкнутый образ жизни, проводя время, главным образом, в имении под Малоярославцем. Близкими его друзьями были П. Я. Чаадаев, И. В. Киреевский (крёстный отец Д. Д. Облеухова), И. Д. Якушкин, М. А. Фонвизин и некоторые пругие люди декабристского круга. Чаадаев приглашал его вместе путешествовать по Европе (Облеухов не смог поехать) и высылал ему книги из путешествия. Умер Облеухов 13 декабря 1827 года от чахотки и был похоронен на кладбище Даниловского монастыря (где и славянофилы), как известно, разрушенном в советское время.

И. Киреевский считал Облеухова "человеком замечательным", а Чаздаев — "во всех отношениях необыкновенным, одарённым большими способностями", но слабохарактерным. Круг его занятий был очень широк. Он занимался философией, филологией, историей, математикой. Киреевский упоминает о его "замечательных тетрадях" ("Memoire sur Geistkunde" — видимо, одна из них). В печати он выступал, однако, главным образом, как переводчик — перевод І-ой эклоги Вергилия ("Друг просвещения", 1805, ч. 3), перевод книги аббата Баттё "Начальные правила словесности" (М., 1806-7, "перевёл и умножил Д. Облеухов"). Посмертно И. Киреевский опубликовал отрывок из его перевода "Манфреда" Байрона ("Московский вестник", 1828, ч. 7). со своей вступительной заметкой "О переводе "Манфреда" (никогда, кстати, не перепечатывавшейся и непопавшей в его собрания сочинений), а также философско-лингвистический фрагмент "Отрывки из письма к И о иероглифическом языке" ("Московский вестник", 1829, ч. 4).

Немногие уцелевшие письма Облеухова содержат туманные указания на предметы его занятий. В письме от 1824 г. (С. Н. Чернов "Четыре письма не-

известного к Якушкину", Саратов, 1924) он пишет: "Болезнь мешает мне заниматься теми тонкими отвлечёнными исследованиями, коими я прежде занимался беспрестанно и никогда не достигал истины, которая была единственной целью сих, часто для меня скучных размышлений. Я подобно Диогену, средь бела дня ходил с тусклым фонарём, хотя искал не человека". И в письме к Чаадаеву (Рукописный отдел библиотеки им. Ленина) от 9 августа 1827 г. (т.е. за несколько месяцев до смерти) он говорит: "Я сделаю то, что мне некоторое время назад пришло в голову. Я напишу здесь нечто на тему высшей метафизики, которое было бы для философии тем же самым, что дифференциальное исчисление для математики".

Ничего более нам, увы, неизвестно. Итак, если не считать "Метоіге sur Geistkunde", являющейся в сущности конспектом Юнг-Штиллинга, единственный материал для суждения о самостоятельных взглядах Облеухова даёт нам лишь вышеназванный отрывок об иероглифическом языке. Облеухов считает, что в основу начертания семи букв древнееврейского и древнегреческого языков было положено изображение основных органов человеческого тела. "Тело человека, — пишет он, — идеал видимого чувственного мира". И дальше: "Органы, составляющие отличительный признак каждого пола должны почитаться главными органами тела человеческого". Затем следуют глаз. ухо, нос, рот, рука.

Не вдаваясь детально в эту статью, мы можем лишь сказать, что имеем здесь исследование явно каббалистического характера, а в лице загадочного Облеухова — вероятно, единственного (до Владимира Соловьёва) запоздалого (в сравнении с Западом) русского каббалиста (ибо попытки этого рода, предпринимавшиеся в масонских кругах, обычно далеко не заходили) — по крайней мере, в этой его работе. И не имел ли в виду Киревский, когда писал о невозможности опубликования трудов Облеухова в то время, вероятные препятствия со стороны духовной цензуры? (Можно, правда, предположить и то, что какие-то его работы были посвящены философии пола.)

Любопытства ради, укажем, что фамилия Облеухо-

ва вновь всплыла в конце XIX — начале XX вв. Один из его правнуков — Антон Дмитриевич был московским литератором и издателем, связанным с ранними символистами. А его брат Николай — петербургским адвокатом, близким к кругам правой бюрократии. Андрей Белый, знакомый с их семьёй, использовал их фамилию в романе "Петербург".

¹ См. о нём в нашей публикации "Неотправленное письмо П. Я. Чаадаева к А. И. Тургеневу" (ж. "Русская литература", Ленинград, 1969, № 3). К приведенным там сведениям добавим только, что 73-летний учёный умер в 1940 году в советском концлагере.

лаэртид

драматическая поэма по мотивам легенды о Гамлете

"Счастлив ты, друг, многохитростный муж, Одиссей богоравный! Добрую, нравами чистую выбрал себе ты супругу..." Гомер

От автора

До настоящего времени не придавалось особого значения генезису имён героев легенды о принце Гамлете (сюжете, по подсчётам историков, восходящем к началу нашей эры). Интересно, что имя главного действующего лица в легенде всегда оставалось одним и тем же: (Х)амлет. Прочитав это сочетание букв наоборот, удивился, опознав в перевёртыше имя другого легендарного принца — а именно: Тел(е)мах. Дальше аналогия — но как бы с "обратным знаком" — разворачивается с поразительным параллелизмом. В ситуации, сложившейся в семье Телемаха, развязка диаметрально противоположна сложившейся в семье Гамлета. С одной стороны — "хэппи енд", сплошная идиллия, с другой — трагизм, торжество порока, как бы реабилитировавшего себя в своих собственных глазах за неудачную попытку женихов Пенелопы расшатать гармоническое переплетение взаимоинтересов из-под пера античного грека.

Антитеза наличествует и в именах второстепенных персонажей. Гамлет погибает от руки субъекта по имени Лаэрт; у Телемаха же — лучшим другом в отсутствие отца оставался его дед, тоже Лаэрт. У богини Афины, выступавшей на стороне клана Лаэртидов, в качестве эмблемы мудрости была змея. В истории о Гамлете фигурирует дочь одного из сановников короля, перед которой была поставлена задача: заручившись благосклонностью принца, "выудить" у того причину его подозрительных умонастроений. Задача, согласно этическим воззрениям пост-античного периода, предполагающая в характере исполнителя "змеиные" черты, т.е. неблаговидные. В дошедшем до нас литературном варианте легенды о Гамлете имя девицы Офелия. Но Афина и Офелия — имена с одной — предположительно — основой, фонетически эквивалентной основе, производимой от греческого слова "офис", т.е. змея. Захотелось опробовать — исключительно художественными средствами — степень собственных возможностей в оформлении связи между двумя легендами, в выявлении метаморфоз, которые бы позволили рассматривать эти две легенды: о сыне царя Одиссея Телемахе и о Гамлете — как тождественные друг другу свидетельства двух последовательных эпох.

ДЕИСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Клавдий, король Дании
Гамлет, его племянник
Гертруда, королева, мать Гамлета
Полоний, советник короля
Лаэрт, его сын
Офелия, его дочь
Горацио, друг Гамлета
Розенкранц
Гильденстерн придворные
Розенстерн
Озрик
Марцелло, офицер

Фортинбрас, принц норвежский Капитан Актёры Могильщик Призрак отца Гамлета (голос лишь) Отец Гамлета Вельможи, дамы, придворные, слуги, стражники

Место действия — Древняя Греция, Москва, а также Эльсинор.

> Канонада за занавесом. Комната в замке, Гамлет. Входит Горацио.

Г. Взгляни-ка повнимательней, сынок. Ведь я же твой отец, намаявшийся в битвах. И в память о котором столько горя Ты выхлебал, насилием взращённый. Ну, что ты, дорогой! Ну, как ты мог подумать, Как мог ты спутать с демоном меня. Свалившимся как будто бы на третье К твоим страданиям, и без того немалым. Ну, вот; ну, вот; ну, вот, теперь и я... В слезах. Тону! Мы тонем! Помогите!! ...Горацио? Γop. Он самый, Ваша светлость. Ваш Слуга покорный. Г. Показалось... Гор. Вам что-то, Ваша светлость? модто э Я Своим здесь разговаривал. Гор. (в сторону) Как странно. --

С отцом, милорд? Да, с Одиссеем.

Fop. O

Ну, надо ж!..

Г. "Надо ж", что?

Гор. Милорд, Терпения набравшись ненадолго, Себя возьмите в руки, Ваша честь, Пока я Вам всего не расскажу, В присутствии Бернардо и Марцелло Случившегося.

Г. Надо, значит, надо.

Выкладывай. (В сторону) Мы тонем! Помогите!!

Гор. Бернардо и Марцелло на посту В полуночной глуши воздушного бассейна Вот с чем столкнулись. С ног до головы Вооружённым королевский образ Почившей в бозе гордости датчан, Иначе, Вашего папаши, Ваша светлость, Их взору изумлённому представ, Продефилировал. Очухавшись, бедняги Об этом случае мне под большим секретом Повелали...

Г. (в сторону) Насилием взращённый. Вооружённым, говоришь?

Гор. Так точно.

Г. Не пробовал ты с ним заговорить?

(В сторону) Свалившимся как будто бы на третье... Гор. Пытались, Ваша светлость, но без толку. Г. (в сторону) Немалым. — Что бы это означало? Гор. Ума не приложу. Но если в общем

Г. Странно.

Когда б он в образе отца явился снова, Я б от него так просто не отстал, Не отцепился, не угомонился — Покамест не добрался до разгадки Явления загадочного. Друг, послушай — Не мог бы ты компанию составить Сегодня ночью мне, на всякий случай; Вдруг призрак явится, вдруг, пообвыкнув, Разговорится?

Гор. С удовольствием, милорд. За честь лишь, Ваша честь.

Г. Вот и отлично,

Горацио. А где же, Горацио, это случилось?

Гор. На платформе, На месте расстановки часовых. Г. Спасибо, друг. Да, вот ещё — нельзя ли Ни слова ни кому

Гор. Милорд, ну что Вы

Г. Вот и отлично, вот и хорошо.

До встречи.

Гор. До свидания, милорд.

Комната в доме Полония. Входят Лаэрт и Офелия.

Л. ...О благосклонности его —

Входит Полоний.

П. Послушай, ну-ка Сейчас же на корабль! Уж ветер выгнул Полотна парусов, — а ты всё тянешь, Задерживая всех? Ещё разок: Ни мнений не чураясь, ни советов — Ни со вторым, ни с первым бу-бу-бу; Да не одалживай, бу-бу поменьше будет. Ну, и, конечно, не бу-бу душой. И будешь по достоинству оценен Как честный бу-бу-бу, — и да избавит От умопомешательства тебя бу-бу!

Л. Прощайте, батюшка, не поминайте лихом. Прощай, Офелия. Значения большого Не придавай... в соображение приняв... Укрывшись на задворках пылкой страсти, Вне попаданий чувств и импульсов мордасти!

(Уходит.)

- П. "О благосклонности его" и всё такое Это кого же?
 - О. Гамлета. И вообще о жизни.
- П. "И вообще о жизни". Вот как! Я слыхал, Он у тебя всё чаще пропадает, Тобой-де поощряемый
 - О. (в сторону) Бу-бу-бу
 - П. Есть правда в том, о чём мне
 - О. (в сторону) Бу-бу-бу́

 Π . Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу не лишним, Пожалуй, будет О. (в сторону) Бу-бу-бу-бу-бу П. О представлении О. (в сторону) Бу-бу-бу-бу Π. Наивном О. (в сторону) Бу-бу-бу-бу У почери моей О роли собственной в связи с отцовской ролью. Как далеко у вас зашло, ну? Только правду, дочка. О. Ну, просто он, милорд, со мной был добр; И не стесняясь в чувствах изливался. П. Так, значит, в "чувствах"! Что ты маленькая, И ты поверила его... как ты сказала?.. О. (в сторону) Бу́-бу;. → Бу знаю, что и думать. Π. Ну, так слушай, Пастушка из гимназии начальной. — Поосторожней О. (в сторону) Бу-бу Π. А не то Останемся мы оба С тобою в ду О. Какие клятвы!.. Ворохи! Букет их, Букетов из садов небесных! П. Силки, и больше ничего, Фиалки. Когда пылает кровь, душа на клятвы Их не жалеет. Эти вспышки, дочка, Соломенные, не успев родиться — Разваливающиеся, за пламя Не принимай. Давай догово О. (в сторону) Бý-бу Бу-бу́ П. — га ни минуты раз Π. — вором. Ни словом даже — с Гамлетом отныне Ты больше не скомпроме бу-бу-ешь. Понятно? О. Бу-лорд, ослушаться я не сумею.

Платформа перед замком. Входят Гамлет, Горацио и Марцелло.

Г. Пронизывает до костей. Ну, и погодка! Гор. Покусывает, что и говорить.

М. Вот в это самое же время прошлый раз, Когда вот эта самая звезда — Что к западу от полюса — пробралась В то место, где сейчас она горит, Мы — час как раз пробило —

(Трубы. Пушечные выстрелы за сценой.)

Гор. Вот дают!

Г. Король заздравный кубок поднимает. И только лишь осушит кубок с рейнским Под гром литавр и пушек, возвещает Уже о следующем подвиге их рев.

Гор. Зуб на зуб... Весь закоченел.

Г. Ещё бы!

...Видал, распутничают! Бр-р. А нам-то Сам Бог велел, в такую холодину. Держи-ка...

(Достаёт из кармана бутылку. Пускает по кругу.)

М. Ну, теперь другое дело!.. Гор. Тс. Ваша честь! Смотрите, вон он! Тс!

Г. О, воинство небесное, не выдай! Где? Отцепись, Марцелло, ну-ка — Ишь, присосался! Дай сюда.

Гор. Да вон он!

Г. О, воинство небесное, не выдай! Исчадие иль дуновение ты (рая), Злой демон-искуситель, бла́гий дух? Не оставляй в неведении тяжком Касательно причины на-тора Явления твоих костей незримых, —

Гор. Он приглашает Вас последовать за ним, Как если бы хотел Вам

M. Посмотрите Как расстилается -Исполнив Гор. Рассказать Г. Ночь — ужаса, О чём-то Γop. Γ. Мозг — проблемы, Загадочностью ум перетряхнувшей и М. В пропасть может затащить, милорд! Г. И вышвырнувшей на песок догадок Из волн разбушевавшейся души! Прощенья, джентельмены! Не ходите! Гор. Ни в коем случае! Иначе ...Посторонитесь, душу вытряхну! — Ид-у!... (Убегает.) Другая часть крепостных укреплений. Г. До коих пор мне за тобой плестись, О, Молчаливый! Не пойду я дальше! Дух. Смекай. Я слушаю. Я весь к твоим услугам. Дух. А выслушав, ты мстителем очнёшься. Г. Бред!Наваждение! Дvx. Протри глаза — Дух твоего отца! Великий Боже! Дух. Любимый отпрыск своего отца, Воздай за грязное родителя Погромче, Γ. Пожалуйста. Зане я весь вниманье, Дабы на выполнение заданья Я мог бы как на крыльях полететь. Дух. Так вот. И то — ну, кем бы, отступись, Ты оказался: вермишелью жирной В одной из многочисленных кастрюль — В забвении неряшливой хозяйкой.

Нет, каково! де спящим под кустом Я был змеёй ужален подколодной. Вся жизнь насмарку! А пассаж какой — Для подданных, не покладавших рук Во славу августейшего монарха; В короне с головы его ж — внемли, О, благородный юноша — змея, Его ужалившая, щеголяет!

Г. Предчувствия мои! Неужто Клавдий?! Дух. Сволочь!

Кровомеситель и прелюбодей!
На похоти потребу королеву —
Прикинувшуюся моей женой —
Склонивший!.. Задремав в саду
(С мамашей отобедав), я — ни сном,
Ни духом о подкравшемся коварстве
Не ведая — похрапывал себе,
Когда твой дядюшка с губительным настоем
Подкравшись незаметно, вылил в ухо
Мне

Пузырёк заразы; чей эффект Губителен настолько для здоровья, Что, обежав со скоростью луча Сосудов кровеносную систему, Сворачивает кровь, как молоко, — На радость одному лишь убитазу.

Г. Какой позор! А безобразие какое!

Дух. И если кровь в тебе, а не вода простая — (Уж утро бредит рыжею зарёй,)
Не прохлаждайся, действуй, сын. Но только (Рукою обхватив холма бугор,)
Ни умыслом противным или словом (Исследуя) обидным в адрес бабы (Поверхности) греха на душу (Другою) не бери — Господь с ней. Пускай ей будет хуже от укоров Нечистой совести, преследующей женщин.

(Трубы. Пушечные выстрелы за сценой.)

Г. Уж утро бредит... Вот дают! Марце-лло. Гуд бай немедленно!.. Гора-ци-о!.. А нам-то Сам Бог велел... в такую холодину.

> Комната в поме Полония. Входит Офелия.

- П. Офелия! В чём дело, что с тобой?
- О. Я не могу в себя прийти...
- В чём дело?!
- О. Я вышивала у себя, когда Вошёл лорд Гамлет.
 - Ну, и Π.
 - Пошатнувшись. O.

Он за руку меня схватил. Затем, Назад подавшись вдруг, из-под руки, Сощурившись, уставился в лицо мне, Пошатываясь. Наконец, очнувшись И покачав со вздохом головой — Он чудом, Казалось, выбрался из комнаты: понеже Он так и пятился пошатываясь, взора С меня не

- Эврика! Нашёл. Скорее Поставить их величества в известность. На умопомещательство похоже Любовное, чьи муторные свойства — Дурак я старый!.. Нагрубила, что ль?
- О. Милорд, да что Вы! Ни единым словом. Посмела б разве я его обидеть! Я общества его лишь избегала. Согласно наставлениям, милорд; Нераспечатанными оставляла письма.
- П. Понятно, почему он помешался. Надо будет пойти и рассказать обо всём этом королю: В борьбе с разбушевавшимся Амуром В фиаско расписавшись. А не то Потом таких хлопот не оберёшься — Проговорившись... Словом, будет поздно.

Комната в замке. Король, королева, приближённые. Входят Розенкранц и Гильденстерн.

К. Привет вам, Розенкранц и Гильденстерн! Лавненько мы не виделись, привет вам. У нас есть просьба, господа, привет. Принц... Господа, привет вам, господа, О — как бы это — Гамлета... привет вам, Привет метаморфозах, господа; Ни внутрение от прежнего привет вам, Привет вам не осталось, ни слепа. Вы вместе с ним привет, привет вам в детстве. Мы были бы привет вам, господа, Когда бы вы привет вам согласились, Пожертвовав привет вам ваших планов, Привет вам принцу общество на время, Помочь ему привет вам. Смотришь, случай Привет вам, господа, представился получше Привет вам разобраться, господа, В симптомах одолевшего его синдрома.

К-ва. Привет вам, господа.

Р., Гиль. (оба) Привет вам, В распоряжении полнейшем вашем.

Р. С намерением выполнить свой долг Гиль. Как можно лучше.

К. Господа, привет.

Благодарю вас, господа, привет вам.

К-ва. Привет вам, господа, и чем скорее Привет вам навестите моего, Тем лучше. Покажите господам Приветы, отведённые для них.

Входит Полоний.

П. Посольство возвратилось, государь,Благополучно из Норвегии.

К. Полоний, Ты как всегда с хорошими вестями.

П. Ваше величество, это не всё ещё. Сдается, Что отыскалась, наконец, разгадка Чудачеств принца Гамлета. К. Полоний,

Ты самого себя, брат, превзошёл! Так в чём же дело? Говори быстрей!

П. Ваше величество, поскольку Немногословность — мудрости девиз, А завитушки речевые — пустомелей, То буду краток. Сын ваш благородный Сошёл с ума, от страсти обезумев. К кому б Вы думали, Офелии моей!..

К-ва. Но краткость не короткость, дорогой. Нельзя ли пояснее, с "завитушкой".

П. Их предостаточно, Ваше величество, вот здесь.

(Отдаёт письмо. Король читает, потом королева.)

К. Стихи... Откуда это у тебя?

П. Офелии любовные трофеи.

К. Она их принимала, в общем-то, не отвергала?

П. Я вышел из доверия, милорд?

К. Для большего ещё, пожалуй.

П. Я был бы рад и это оправдать.

Быка, как это, за рога схватив, Я ей: мол дескать, принц тебе не ровня, И всё такое прочее. Покамест, Не иначе как от досады, тот, Утратив аппетит и сон, не высох; В итоге ослабев: сначала телом — А ведь известно, что здоровый дух — Короче, в сумасшествие не впал, Оплакиваемое всеми.

К. Вот как!

Похоже на действительность, мадам?

К-ва. Вполне возможно.

П. Чуточку везенья — И правде не уйти, хотя бы в центре

Вселенной правда спряталась.

К. Изрядно.

Каким же это образом?

П. Бывает,

Ваш сын подолгу в холле пропадает, Расхаживая. Улучив момент,

Офелию я приглашу к нему, Компанию составить. Окажись уловка Напрасной, в состояние аффекта Его не ввергнет, я — в отставке. Прошу Вас мне, милорд, не отказать И разрешить в деревне

К. Будет видно.

Гамлет за письменным столом, лбом в пальцы.

Г. Какое безобразие, подумать! Нет радости ни в чём. Язык забросил, шпагу. Иной раз до того невмоготу. Что представляется скалой бесплодной Облизываемый вселенной шар земной; А этот несравненный балдахин Воздушный — твердь небесная — заметьте, — Вам не какой-нибудь там жуткий потолок, А свод, украшенный божественной лепниной, --Ну, каково: всего лишь сублимант Вонючих испарений! Человек: Венец творения, с рассудка бриллиантом Во лбу бесчисленных способностей природных! А целесообразности какой — По части формы и телодвижений! Стратег — божественный, и в производстве — ангел. И — в результате: прах, замещанный на прахе!

> (Трубы за сценой.) Входит Полоний.

Что там такое?

П. Лицедеи, Ваша светлость.

Г. Актёры? Ну-ка, ну-ка, позови.

(Полоний уходит.)

Входят Розенкранц и Гильденстерн.

Р. Простите, Ваша светлость, извините —

Совсем забыли: по дороге к замку Мы обогнали труппу

Г. Лицедеев?

Благодарю вас, господа. (Уходят Р. и Гильд.)

Входят Полоний и актёры.

Кого я вижу!

Здорово, господа (и дамы)! У, Какую бородищу отпустил. Ты что, Не в экспедиции ли пропадал? А ну-ка, Поворотись-ка, сынку! Вытянулся-то! По щучьему веленью, да и только! Да с прехорошеньких приплодом!.. Ну, да ладно. Добро пожаловать к нам в замок, господа (И дамы). И без пересадки За дело. Монолог какой-нибудь — И позабористей. Ну, вот хотя бы этот —

1-ый актёр. "Быть иль не быть, вот в чём вопрос..." Γ . Бр-р!..

Из "Одиссеи", ну-ка. Погоди-ка — В свободно плавающем ритме. Диалог — Под видом нищего нагрянувшего предка С потомком, обалдевшим от ... Постой-ка, Как это: "Молодость моя!..

1-ый а. "Мне...

Г. Вспомнил, вспомнил! Мне молодость моя — корм не в коня. Мне молодость моя ни к чёрту, право! Рука не огрубела от меча — Невпроворот! — а тут волынка с этим сердцем, Не выбравшимся из пелёнок чувств На вражий свет (из божьего). Попробуй (Ну, что поделаешь с самодовольной мордой!) Попробуй этой морде в морду дать (Смахнувшей кокон твой небрежно с ветки), — С душой растоптанной, из-под его ботинка Взирающей на свет лишь; не успевшей Надкрылий разорвать и, взбунтовавшись, Порог пинком пороку указать.

П. Ей-богу, потрясающе, милорд! С какой, с каким —

Γ. (актёру)А ну-ка, продолжай.1-ый а.Гм.

Э, Телемах, позволь мне откровенно, — Не осудив в сердцах за mauvais ton. Во мне самом понакипело столько — На выкрутасы заместителей незваных Понаглядевшись — не хватает желчи, Слов не хватает, не хватает духу Не высказаться, принц, по существу. (В сторону: Да что там, чувствую — о, боги, развяжите

Мне руки! — не хватает как мне Мне самого себя в твоём дому, сынок!) Какого чёрта, в собственном дому. — Ведь ты уже не мальчик: посмотри-ка, И станом, и рассудком — верно, силы Не меньшей — чем не отпрыск Одиссея. — Развёл ты мразь такую оскорблений, Как будто бы неряха — тараканов. А, каково! И это — "гений", "Поэт"!.. Ведь курам на смех, Не говоря уже о людях; интересно: Велением богов иль разгильдяйством Твоим поднадорвавших животы От смеха над поэзией? Ублюдок! Не гений, замахнувшийся на рифму Во стане демонов глухонемых. Опомнись! И, препоясавшись... О, громовержец Зевс! (Вы, Музы, отправляйтесь-ка на свалку!) Нет, лучше ты, Гермес жуликоватый; Всего же лучше, — стукнувшись башками, Как шведы на поле, Фортуне помолившись, Играющему тренеру, за космы Его в кружок совместный притянув, Обмозговав всё, — подскажите скопом: Чем "препоясавшись"? Какою прозой то есть, Взамен кифары: бы — пролезть верблюду В иголки долгожданное ушко!

П. Мм!.. Только "Шведы на поле..."

Г. (в сторону) Пошёл ты!..

Пожалуйста, теперь где Пенелопа.

1-ый а. Лишь только разметавшемуся в думах На ложе гостевом в своём дому Лазутчику богиня, изловчившись, Сном оковала веки, расписав Ему на сон грядущий прелесть утра. — Того, что "мудренее (как Афина Паллада выразилась в лекции снотворной) Ве-" (не докончив даже: так поспешно Скиталец был Морфеем в руки взят), — Как верная супруга, пробудившись В тревоге и слезах, грудь усладив Рыданиями, возопила тяжко: О. Артемида, громовержца дочь! Страдания мне облегчи, богиня, И, вызволив из тела душу мне Стрелой невидимой, в могилу заключи. С супругом незабвенным

Одисеем

В душе — позволь, богиня, Мне в Тартар провалиться до того, Как вынуждена буду я с мужланом, Противным сердцу и футляру сердца, На ложе взгромоздиться поневоле, Честь сбросив точно платье и закинув Незабываемого туфли под кровать.

- П. Ого, да он в лице весь изменился, И плачет. Стоп!
- Г. И то. Доскажешь после. Милостивый государь, не будете ли Вы так добры и не позаботитесь ли Вы об актёрах? Устройте их получше, пожалуйста.
 - П. Идёмте, господа.
- Г. Ступайте за ним, друзья. А завтра на работу. А ты, друг, останься на пару минут.

(Полоний и все актёры, кроме одного, уходят.) Послушай-ка, старина, — нельзя ли "Убийство Гонзаго"?

1-ый а. Отчего же, милорд.

Г. Ну, вот и хорошо. Значит, завтра вечером. Не смогли бы вы вызубрить обращение, эдак строк на шестнадцать, мною написанных и вставленных, а?

1-ый а. Отчего же, милорд.

Г. Вери вел. Гуд бай, и вдогонку за тем джентельменом.

Комната в замке. Король, королева, Полоний, Офелия, Розенкранц, Гильденстерн и лорды.

К. Ни ка́таньем, выходит, ни мытьём Не удалось вам разузнать, с чего бы Не по себе ему так было и с чего Ему неймётся так на ровном месте?

Роз. Он не скрывает, как он выразился сам, Того, что радости ни в чём он не находит, Умалчивая о причине.

К-ва. Принял вас?

Роз. Как джентельмен.

Гиль. Не более.

К-ва. По части развлечений?..

Гиль. В дороге, на подходах к замку, Мы обогнали труппу лицедеев, Которых, по прибытии, он принял Весьма радушно. Заказав им с ходу На вечер, на сегодняшний, спектакль.

П. Действительно. Обрадовавшись даже. И вот, Ваше Величество, Мадам, Я с просьбой к вам обоим от него — Честь оказать ему присутствием своим, Пожаловав на представление.

К. Охотно, —

Учитывая оборот такой В истории болезни непонятной. Благодарю за службу, господа.

Мы, кажется, расшевелили Несмеяну.

Р. Ваше величество, лиха беда начало

(Уходят Р. и Гиль.)

К. (к-ве) Когда б, Ваше Величество, и Вы Оставили нас на потребу Задуманному. "Ненароком" с принцем Офелии здесь встретиться придётся (За ним уж послано), а мы понаблюдаем, Расположившись по соседству, чтобы Суждением своим обзавестись По части дефективности эффекта, Производимого... любовью? Ну, посмотрим.

(Уходит королева.)

П. Офелия, поближе. — Государь, За нами дело. (К Офелии) Так, молитвенник — в руке, Дабы уединения картине Погуще колорит придать: ведь говорится ж, Что кашу — Он идёт, милорд.

(Уходят король и Полоний.)

Входит Гамлет.

Г. Быть и не! быть, вот и ответ на речи: Сносить ли молча, про себя, полегче Стрел и каменьев град судьбы взбешённой Иль, поднатужившись, покончить! с пшёнкой Кинжалом в пузо (уу-мм-е-ррр-е-ть, короче) — С нытьём зубным промежду жизни строчек: Вздремнув (гм. чёрта с два! А то бы —) — Передохнув в том с-мер-т-с-зком сне, не то Заа-гнёшься по себе. Но чтобы У гроба Лишь посидеть (из Гардероба), Не насовсем. а? Кто — Плевки б стали выносить! на душу в душу душ, Лязг аллигатора, шипенье граммофона, Би! би! любви отвергнутой (во время оно), Биндюжничества срам и всю ту чушь, Доставшуюся добродетели в наследство —

Когда бы страх за окаянство с детства, Страны неведомой, в неё же ни один Не возвращается — отчалив — "господин", Не обезвоживал и бегства вместо с кручи Не вынуждал нас уповать на случай?... Так мупрствованием в трусищек жалких Мы превращаемся под мысли палкой (Вот уж поистине — что у кого болит...) И планы небыва-а-лого масштаба Вот потому-то набок и ва-лит С копыт фундамента. Ба, Кого не! вижу — "Нимфа" ..Офелия!" "В молитвах чьих" "Грехи мои все" — И не слышу! O. Милорд, Как Ваше драгоценное здоровье?

Г. Быть и не быть, вот и ответ на речи.

(Проходит.)

Входят король и Полоний

К. "Любовь"! Как бы не так. А потому Отправим-ка молодчика подальше Куда-нибудь. Ну, в Англию, хотя бы; За сбором недоимок. То да сё, Глядишь, прогулка с видом на природу, С калейдоскопом впечатлений, выбьет Дух нездоровый из него, из головы, Отравленной бездельем — дурь.

Бис! Браво! Π. Бис! Го-л!.. гм. Тем не менее, позволю Себе. Ваше Величество, остаться При мнении своём на корень зла: В любви, и только в ней! В любовной соске, Не по зубам беззубым, изо рта Вываливающейся то и дело. Конечно, воля Ваша, — Вам и карты . . . Но только не попробовать ли (если

Не возражаете, конечно) королеве Самой поговорить с ним: попытавшись Его на откровенность вызвать. Выйдет — Отлично, а не выйдет:
Там в Англию, куда-нибудь подальше, В согласии с монаршей Вашей волей.

К. Идёт. Быть по сему. На текст безумцев Слова напишем.

Зала в замке. Входят Гамлет и трое актёров.

Г. Обращаясь с речью, не забывайте о произношении, пожалуйста, — я вам показывал. Не швыряйтесь фаршем переводов "Гамлета", а так, как написал вас Худяков: легко и свободно, по-русски... Древние, с их путаницей в голове, щебетали о чём попало; в период пробуждения нац. самосознаний поэзия представляла из себя любовный бред; а в наше время она всё больше становится похожей на... транспорт.

И в этом смысле о поэзии сегодняшней не обязательно знать более, чем из истории транспорта: изобретателем паровоза был Стефенсон, а до этого передвигали(сь) на носилках, пешком и на лошадях.

... (И) поэзия включилась в соревнование за всё более эффективный способ перевозки, так называемой, "информации", декларирования всё большего количества эмоциональных настроений в единицу читательского времени. Отсюда и встречная революция в области ассимиляции (под)сознанием...

1-ый а. Всё ясно, Ваша честь.

Г. (спохватываясь, махнув безнадёжно рукой) Э, да что с вами... В общем, позвольте вашему благоразумию быть вашим наставником: не забывая не переступать умеренности правду; в противном случае и речи быть не может об искусстве, чьё назначение (от века), так сказать, быть куколкой внутри матрёшки жизни. Попробуйте переборщить тут или не досолить: что толку, что вы выйдете на "бис", когда тут не до смеха знатоку, чьим мнением одним и надлежит вам руководствоваться. Тьфу! скольких я перевидал поэтов,

аплодисменты пожинавших, — ни христиан и ни язычников, и ни даже простого человека ни походкой, ни речью не обладавших, зато выпендривавшихся и завывавших так, будто не природой был сотворён человек, а какими-нибудь её подёнщиками: до того бесчеловечным выплядел человек в их очеловечивании.

1-ый а. Надеюсь, Ваш урок пошёл нам впрок, сэр.

Г. Этого мало: "впрок"... (распаляясь) Да знаете ли вы, что такое искусство вообще? Нет, вы не знаете, что такое искусство!

1-ый а. (перекрестившись) Господи помилуй!

Г. Трансформация количества особых форм воздействия психореминисцентного свойства, сублемативный характер которой в качестве продукта предполагает — заключённую в материальные формы, внучатую по отношению к источнику воздействия, т.е. к действительности, некоторую производную: эдакое, внучатое по отношению к действительности, эхо. Ну, ладно, идите одевайтесь.

(Актёры уходят.)

Входит Горацио (задумавшись).

Привет, Горацио!

Гор. Ах, здравствуйте, милорд.

Г. Горацио, ну, я хватил немножко; Подвыпил, так сказать,.. совсем не пьян. Короче, дай тебе Господь всего, Чего ты сам себе желаешь. Человека Подобного я в жизни не встречал!

Гор. Беда, беда!

Г. Ну, хватит прибедняться. Ты думаешь, я льщу? Какой мне толк, Что пользы мне в тебе, привыкшем обходиться Расположением одним Святого Духа! С тех самых пор, когда я, оперившись, Поднаторел в людишках, изо всех Разбойников и прощелыг прожжённых Ты дурачком мне наибольшим показался; Подумалось: вот душу отведу —

С телятиной, наперекор ножу, В страданиях похорошевшей даже!.. Скажешь. Я — Уважаешь. Горацио, меня ты или — Нет, Не уважаещь? Вот и хорошо! Я всё равно тебя люблю, дай попелую. Послушай-ка, тс. -кую Удумал я штуковину: в пиесу Фрагмент я вставил из чудесной сцены — Ну, той, что я тебе рассказывал... Той самой, Убийства гнусного... Ну, да, отца. Когда дойдёт до дела, не зевай, И, с прототипа не спуская глаз, Давай понаблюдаем за эффектом На оного свидания с собой В искусства зеркале (которого задачей. Согласно утверждению пижонов, Является угрозыск.) Пусть послужит На благо добродетели. И бровью Не поведёт подопытный, не вздрогнет — Раскаявшись, пощады не запросит Немедленно — выходит, с нами шутку Сыграл тот призрак, только лишь смутив.

Фанфары. Входят трубачи и барабанщики. Датский марш. Входят король, королева, Полоний, Офелия, Розенкранц, Гильденстерн и другие, вместе со стражей с факелями в руках.

Идут! Ну, как идёт?

Гор. Идёт, милорд.

К-ва. Гамлет, Гамлет, иди сюда. Тут есть свободное местечко.

Г. Благодарю Вас, матушка, но не могу же я оставить даму в одиночестве.

П. (королю) Ага! Вы слышали, Ваше Величество?

Г. Миледи, Вы не возражаете?

(Устраивается неподалёку от коленок Офелии.)

Играют гобои. Начинается пантомима.

Входят король с королевой. Держась за руки; усталые, но счастливые. Усаживаются на лавочку под надписью "Сад пятницкого".

Королева достаёт из сумки пачку сигарет, закуривают. Король начинает горячо декламировать. Королева с выражением восторга на лице следит за каждым его движением; улучив момент, зевает. Подходит троллейбус. Королева нежно целует короля и исчезает в автосалоне. Король, пошатываясь, уходит.

Подъезжает "Волга". Из неё выходят королева с лакеем. Взявшись за руки, проходят вглубь. Усталые, но довольные. Усаживаются на ту же самую лавочку, с надписью "Ресторан суббота". Закуривают.

- О. Что это значит, милорд?
- Г. Какой сегодня день?
- О. Воскресенье, милорд.
- Г. Это означает "Позвоню в понедельник".

Королева с автолюбителем уезжают. Король на лавочке (той же самой); под надписью "Понедельник". Всё время поглядывает на телефон (тут же на лавочке.) Не дождавшись, засыпает. Подкрадывается лакей, и, сняв с короля корону и надев на себя, вливает тому в ухо водки. Король так и не просыпается. Часы бьют ("звонят") двенадцать.

К.(к-ве) Что за чушь! (Зевает, прикрыв роз рукой.) К-ва. Действительно, пантомимы я что-то здесь не припомню.

К. Всё Гамлета проделки. (В сторону) Ну, всё, в двадцать четыре часа!..

К. на сцене:

С тех пор, как нам связал во чреве дней Любовь, сердца и руки Гименей...

Гор. Явное нарушение синтаксиса. Следовало бы сказать: сердца — любовь, а руки — Гименей.

П. По-видимому, Шекспир здесь "пародирует нелепый стиль лубочной драмы".

Г.(к Гор.) Вычитал у шекспироведа. (К Полонию) Это переводной Шекспир, у нашего же ни о какой такой "пародии лубочной драмы" и речи нет. Так и сказано: сердца — любовь, а руки — Гименей.

П. Вот уж поистине злые языки страшнее пистолета. Вы знаете, Ваше высочество, какие слухи эти учёные распускают о Вас?

Г. Догадываюсь.

П. Ни больше, ни меньше как то, что Вы, как выражается Лозинский в своём переводе, без конца "наигрываете на моей дочери"!..

Р., Гиль. Ха, ха, ха!.. Гор. Тс, госпола.

К-ва на сцене:

Ни шуба, ни машина не нужны. Нет дела мне совсем до их мошны.

К. на сцене:

Превратностями полон женский пол. Эврика! Я любимую нашёл!

К-ва на сцене:

Нет, миленький, в субботу не могу. Мне вечером девчонку к зубнику.

К. Что за тарабарщина!

К-ва. Успокойтесь, Ваше величество, это всего лишь новый вариант "Гамлета".

К. "Лаэртид"? Я бывал в России. Удивительная страна! Вы знаете, Ваше Величество, о чём не без гордости мне поведал Полоний Пастернака?

К-ва. Да, милорд?

К. Что он ни больше ни меньше, как "дочь имеет"!..

К-ва. Какой ужас!

К. И всё, видите ли, на том разъединственном основании, что, как он выразился, "та дочь" — его.

К-ва. Офелия! О, нимфа!

К. на сцене:

Я утомился сутолокой дня. (Засыпает.)

К-ва на сцене:

Прогонишь даже, не отстану от тебя. (Уходит.)

Г. Сударыня, как Вам нравится пьеса?

K-ва. Такое впечатление, что героиня в глубине души всё-таки симпатизирует герою.

К. Хреновина какая-то! (Вставая.)

К-ва. Клаша!

О. Король —

Г.(к Горацио) Ты видел?!

Гор. Да, милорд.

Г. Он, было, рот раскрыл, вперёд подавшись, Как правонарушитель уличённый, Застигнутый на месте преступлений — Когда бы, спохватившись, вмиг лица Улик мимических рукою ни прикрыл!

П. Огня его величеству! Огня!

Спасибо за оказанную честь.

К. Мм... Не сочти за труд, любезный, — первым делом,

Глаза продрав, до Лондона билет На подпись мне представишь. Разумеешь?

- П. До Лондона, Ваше Величество? Ах, да... (Уходят все, кроме Гамлета и Горацио.)
- Γ . Ха, ха, ха, Горацио! Ну, как, здорово? Нет, ты видел, видел?

Гор. Действительно, милорд.

Г. А ты всё говорил, что из поэта драматург никакой. Ну, в режиссёры-то я гожусь, по крайней мере? Гор. Действительно, милорд.

Г. (напевает)

"Жил-был король когда-то, При нём змея жила. Милей родного бра-та Она ему была."

Входит Полоний.

- П. Милорд, всего лишь на два слова, Вы разрешите?
 - Г. "Ха, ха, ха, ха, ха." Да, да, да, да, да.
 - П. Король...
 - Г. "Жил-был" уже или нет?
 - П. Ему плохо.
 - Г. Несварение, что ли?
 - П. Сердце, милорд.
- Г. Королю "плохо", у него "сердце". Вот уж чоистине, незваный гость хуже татарина.
- П. Ваша матушка в отчаянии и поручила передать Вам
 - Г. Благодарю за передачку, сэр посол.
- ...Ну, не сердись, Полоний. Ну-ка поди сюда и за моё здоровье. Вот и хорошо. Так королева, говоришь?...
- П. Хотела бы поговорить с Вами, прежде чем Вы отправитесь спать.
 - Г. Скажи ей, что я сейчас приду.
 - П. Я так и передам. (Уходит.)
 - Г. Наедине в полуночной глуши

С разговорившейся природой. Посмотри-ка, Вернее, чу, послушай: за окном Как оживились дерева в саду, Засльпша ветерок; разволновались, ишь ты, Как — будто бы над кошкой воробьи, Пустившей желторотого по ветру... Что называлось белым светом днём, Вдруг стало уголком отшельника. Поджала Натура хвост, когда на лов он вышел — Всего лишь у подъезда покурить. (Уходит.)

Покои короля. Входят Розенкранц и Гильденстерн.

Р. Ну, как, Ваше Величество, Вам лучше? К. Благодарю вас, господа, здоров, как бык. Гиль. Лейб-медик, государь?.. К.

Выстукивал, как дятел, и, вконец Замучив было, воздух прописал. Пустое, господа. Теперь о деле, По поводу племянника причуд. Мы в Англию его с посольством. Подготовьтесь. Своих забот, а тут извольте С детиной нянчиться.

Р. В дорогу, так в дорогу. И то сказать, нет выше ничего Хлопот по наведению порядка Во вверенном монарху государстве.

Гиль. Козявка незаметная, и та — За сбором мёда, например, — попробуй, Заговорив, погладить крылышки: куда там! Отбрыкивается сердито, дескать Отстань — з, з — не в силах оторваться, Вернее, вырваться — из сладких лап нектара. А тут ещё другой цветок: "Ко мне!" — Кричит, другой: "Ко мне!" и третий, — Наперебой взывают, ей головку Вскружив, — в ударе, как в угаре — Сознанием незаменимости.

Р. Сравнив
Козявкины кружки с огромным кругом
Обязанностей, Богом на монарха
Возложенных, нельзя, не возмутившись
Эгоцентристов безответственностью, палку,
Подсовываемую ими в спицы,
Не выдернуть из чудо-колеса.
Мы слуги Вашей верности, милорд.

К. Ну, вот и хорошо. Вот и рубашка Готова для фантазии чрезмерной, — Разбушевавшись, может в ней скакать И выкобениваться до седьмого пота. Ведь говорится же недаром, что охота... Ни пуха ни пера вам, господа.

Оба. К чёр- Извините, государь! К. "-ту"? Да, туда!

(Уходят Р. и Гиль.)

О, Господи, наш Отче,

Входит Гамлет.

Г. Наконец, взмолился, Братоубийца! К. Иже T. Кончен бал! К. Еси на небеси, Г. Удар, и Богу Отдаст он душу. К. Да святится имя... Г. И месть свершилась. ...Да приидет Дудки! — Г. За гнусное убийство, и не в огнь: Очистив душу от грехов молитвой. Какая ж это К. Царствие Твоё. Г. Услуга да и только, а не месть. К. Душа коптит, а не восходит к небу. Γ. Her! P. Отсырев; Г. Отцу К. Молитвы пламя Не разгорается. Подставив ножку В разгар утех земным и наслаждений Запретного плодами и... цветами. К. Проклятие на мне древнейшее -Г. Он штуку Поистине К. Не пожелай жены Г. С ним дьявольскую К. Ближнего Г. Сыграл. И каково ему там наверху сейчас — Воображению не поддаётся. Но исходя из к. TBOETO . . . Г. Того,

Что смертному доподлинно известно, Чистилище не санаторий:

К. Грех какой!

Г. Тот ещё диспансер психический, откуда

К. Нет мне прощения.

Г. Дороги все ведут

Из пасти Минотавра к чёрту в лапы!

К. Как будто бы всего лишь предрассудок, На вымирание, конечно, обречённый — Вслед за подобным ему. Но до чего Лукавый приходящих им на смену Силён: опутывают душу Гипнозом, "прогрешение" внушив;

Г. Отставить, меч!

К. Мысль уловив в тенета.

Сомнамбулы

Г Как говорится —

К. Жизни.

Г. Поближе подпустив, врасплох застав Врага в расцвете блажи греховодной — Огонь! не дав опомниться в молитве; Отправив прямиком банкрота в ад! (Уходит.)

Покои королевы. Входят королева и Полоний.

П. Поговорите с ним построже. Объясните, Что есть предел всему и шуткам, в том числе; Что без конца служить прикрытием капризов, В которых он зашёл так далеко, Не в состоянии Вы просто. Между прочим, И потакать ему, мол, больше не намерен Сам государь. Ну, вот и всё. Без всяких яких, Пооткровенней.

Г. Матушка, Вы здесь? К-ва. Я постараюсь. Это он. Вот здесь удобней.

(Полоний прячется за портьерой.)

Входит Гамлет.

Г. Зачем я Вам понадобился?

К-ва. Гамлет,

Мой дорогой, ну, как твои дела?

Г. "Дела", Ваше величество? Какие?

К-ва. Ну, как же — например — стихи. Ты что ж, забросил?

"Брожу ли я средь улиц шумных, Иль с сигаретами вожусь

Г. "Брожу ли я иль поспешаю"! К-ва. "Сижу ли за решёткой чаю Г. "Стаканом"! К-ва. И потом про жуть.

Г. Передо мной маячит жуть

Передо мной маячит ужас Покрытый саваном дерёв

И не пойму: ли тщусь, ли тужусь С утра удариться ли в рёв

Иль с вечера засесть за рюту Одним слагаемым назло На бесполезную работу Перестановки пары слов

К-ва. Шарман, шарман. Сказать не ложно, Тебя без скуки слушать можно. Так в чём же дело, дорогой, Зачем отца изводишь ты?

Г. Взгляните На эти два портрета братьев кровных, На две картины: неба и земли.

(Две продольные картины в рамах: № 1 — 90% неба, № 2 — 90% земли.)

Каков! —

Голос. Открытый взгляд.

(На фоне картины №1 появляется Гамлет-отец в цивильном.)

От. С глазами с "поволокой" "Глаз" собственного "брата" лицемерки.

Гол. Осанкой — бог, спустившийся с небес.

От. Как у отца, мол дескать, в точности такой же. Гол. Здоровый волос.

От. Уши называла, Целуя, "ушками красивыми", — в цветочек Наговорив с три короба, забравшись В него. как пчёлка. хоботком своим змеиным.

Гол. Ну, словом, комбинация достоинств, Излюбленных в мужчине ею...

От. Я ли

Не лез из кожи ей мозги вскружить По наущению подруги: дескать, С неё достаточно моих талантов будет...

Г. Взгляните на другой.

Гол. Чуть, правда, помоложе, Чуть ли не копия; и с проседью такой же, Её очаровавшей в первом будто.

От. Но что за изуверский взгляд, какая Бесчувственность рассчётливая: робот!

Гол. Но, может быть, своим автоматизмом Он ей вскружил совсем иное место, Которое вскружить одним лишь можно Талантом: не поэзией отнюдь...

От. Я сомневаюсь. По её словам — У ней как будто бы был повод убедиться, Что у одних приборов, на других* Карьеру сделавших, свой собственный прибор,... Как у сапожника, ну — словом, без сапог...

Г. Не может быть, чтоб не было у Вас Чувств!

Гол. Верно, атрофированы: ибо, Свихнувшись даже, чувства б не ошиблись В достойном выборе.

От. Который поначалу Она и сделала, прибору предпочтя

 $^{^{\}star}$ У преуспевших на "атоме" (атомных приборах) физиков.

Мужчину-лирика,.. которым, правда, В наш век прекрасный пол предпочитаєт Прозаиков...

Г. Так в чём же дело? Дьявол Какой попутал Вас?

К-ва. При чём тут дьявол?!

От. Признавшись даже, что для лирика я, в общем, Не так уж плох; и если не... "швейцарец", То в сутки не на много отстаю...

Гол. Ну, ладно, — душу отвели и хватит В метании кинжалов упражняться; "Писания" послушавшись: Не знают Бо сами что творят.

К-ва. При чём тут чувства?! Воображения расстроенного бред! В котором исступление искусно.

Г. Как Вы сказали, самолюбие? Возможно, И в самом деле шизик я, но только Я не из той палаты, так сказать, — Горячечных иль с "голосами" инвалидов. Моя шизофрения Божий дар, Крест, уготованный мне Богом. Заклинаю Вас именем Которого поверить, Уверовать, не в сумасшествие моё, А в собственное

От. Можно мне ещё: впустую — И в наилучшем варианте: под корой Раскаяния, совести терзаний, Попыток удержаться на плаву — Порока раковая опухоль, — проникнув В плоть новорожденного с поздравлений С рождением потоком, заражённым Отходами, как это: производства, — Их души обречённые скупив, Не даст им вырваться, как ни реви, Из евтушенковского се ля ви.

К-ва. Ты душу мне на части разорвал!

Г. Переберите получившуюся груду — Избавившись от гнили, вот и всё. За сим спокойной ночи. Умоляю —

Воспользовавшись переводом Пастернака — Вас "к дяде не ходить".

К-ва. Не понимаю.

Г. Посмотрим у Лозинского. (Делает вид, что листает книгу).

Акт третий.

Ну, вот: "Не спите с дядей"! К-ва. Может, с "тётей"?

Ты не ошибся?

Г. С дядей, я сказал! К-ва. Я — ваша тётя. Вот ещё! А с кем же Прикажете мне спать, с самой собою?

Г. А с кем хотите, я сказал!

К-ва. Всё водочка!

Г.(в сторону) Пошла ты к чёрту!

К-ва. Ведь тебе ни капли

Брать в рот нельзя! Послушал бы что Марья Ивановна рассказывала мне: в их доме Мужчина на учёте выпил водки И бросился с восьмого этажа. Прошу тебя, не пей! (Плачет.)

Г. Спокойной ночи. И умоляю, к дяде ни ногой! Прикиньтесь добродетельной на время, Самовнушение призвав на помощь В борьбе с привычкой. Неспроста она Дана нам свыше, ведь она что дышло: Куда поворотил, туда и . . . Не поспите ночь, Другую, воздержитесь третью — Глядишь, и дяди не захочется, убийцы! К-ва. О чём ты, о каком ещё "убийце"?

О, Господи, час от часу не легче!

Г. Убийце брата, Каине проклятом,
Гадюке подколодной, душегубце,

Кровомесителе отъявленном, воришке Карманном; брата обобравшем, — Короны, жизни и жены Отца лишившем. Всё равно, Желаете того Вы или нет,

(выхватывает шпагу.)

К-ва.

Помогите!

Г. Да я его в бараний рог сверну, Печёнку выпотрошив, дух пустив по ветру, На вертел сердце насадив! Вот так! Вот так, вот так, вот так! Вот —

(Набрасывается со шпагой на портьеру.)

П. (за портьерой)

Я — убит!

К-ва. О, что ты натворил, безумный!

Г.

Ладно,

Спокойной ночи. Ведь она что дышло —

К-ва. Какое беспримерное злодейство!..

Г. Куда поворотил, туда и . . . Не поспите ночь, Глядишь, и дяди не захочется другую. (Уходит.)

Покои короля. Входит королева.

К-ва. О, Господи, милорд, чего я натерпелась!

К. Гертруда? Ну и как?.. В чём дело?!

К-ва. Да Гамлет, государь, — помешан точно море, Взволнованное непогодой. Разойдясь Сверх меры, бой затеял с тенью — Истыкав всю портьеру, за которой Полоний прятался.

К.

О! Ну, и —

К-ва.

Он убит!..

К. Убит? Полоний?!

К-ва.

Да, милорд.

К.

Дождались!

Изволь теперь выкручиваться. Нет, Во всём стальная середина. Притупившись И демону позволив из бутылки Наружу выпроситься, золотая, — Подобно белым кровяным тельцам, Утратившим под бременем заразы Боеспособность, — труп и гниль,

Рассадник гнили, а не антисептик. Пришли его ко мне. (Уходит королева.)

Арестовать? Не к спеху.

Мамашу истязать. Ну надо ж Как прикипел — не вырвать. Как репку если бы. Короче, Придётся его высылку обставить В двадцать четыре на два пополам.

Входит Гамлет.

Ну, Гамлет, твоего же ради блага (Обеспокоены которым мы не меньше, Чем выкинутым, брат, тобой коленцем), Приходится тебе, мой дорогой, Покинуть Данию немедленно, в два счёта. Корабль наготове, попутный ветер, Все в сборе.

- Г. Как это в два счёта? Так вот?...
- К. Вот так вот. А тебе бы как хотелось?
- Г. Ну, в два, так в два. Не поминайте лихом!
- К. Всего хорошего.
- Г. Ну, надо же, в два счёта!..

(Уходит.)

Окрестности Эльсинора. Берег моря. Проходит Фортинбрас со своей армией.

Ф. Ей, капитан, пойди и поприветствуй Владыку датского; де с позволения его Своей дорогой мы проследуем. Кру-гом! Кап. Сэр, Будет исполнено. (Уходят все, кроме капитана.)

Входят Гамлет, Розенкранц, Гильд. и другие.

Г. Любезный, что за люди? Кап. Войска, сэр, короля норвежского.

Г. За коим,

Сэр, ляхом?

Кап. Да за польским, сэр, всё ним же.

Г. Кто во главе?

Кап. Принц Фортинбрас, племянник.

Г. Вы что же это, по-большому Или по-малому на Польшу взъелись?

Кап. В общем,

Позарившись на пятачок землицы, Которой грош цена в базарный день. Храни Вас Бог. сэр.

Роз. Двинулись, милорд?

Г. Ступайте. Я вас догоню. (Уходят все, кроме Гамлета.)

Куда ни кинешься, всё об одном трезвонит. Ни сна, ни отдыха измученной душе, С бархана скатывающейся муравьишкой. Ну, шаг вперёд, от силы два, четыре... Зато в обратном в комбинации такой Повалишь!.. Много ль толку В божественном происхождении, когда, Привыкнув время разбазаривать на вздохи Да в стол стишки — бабах, и осознаешь, Что, плавая во времени вселенной, Существование довольствуется лужей, Оставленной волной на берегу. (Уходит.)

Комната в замке. Король и королева.

К. Как "в монастырь"?

К-ва. Да так, на всякий случай. Иначе с ней хлопот не оберёшься. Всё об отце твердит — Что там такое?

К. Сынок Полония — рубака этот — Ты слышала: из Франции вернувшись — Поодаль держится, питается молвой На празднике злословия в наш адрес.

Входит придворный.

В чём дело?

Придв. Ваше

K. Hy!

Придв. Беда, милорд!

Лаэрт, возглавив банду негодяев И во дворец ворвавшись, рвётся в сени, Сметая стражу. И толпа, как школьник, И, божеством себя вообразив, Помазанником величает негодяя: "Лаэрта королём!" — кричат, — "Лаэрта!"

(Шум за дверью.)

Врывается Лаэрт с толпой.

Толпа. Король! Король!

Л. Подать его сюда!

Куда вы лезете, за дверью подождите.

Толпа. Пора с ним рассчитаться!

Л. Убирайтесь,

Вам говорят!

(Уходит толпа.)

Посторожите дверь. Презренный узурпатор, кровопиец, Отца мне возврати!

К-ва. Он

К. Вправе знать всю правду.

Л. Как умер он? Что будет, то и будет,

Но за отца — проклятье! — отомщу.

К. Оставь с Лаэртом нас, Гертруда.

(Уходит королева.)

Ну, Лаэот,

Клянусь короной, для твоей души, Взбешённой горем, верное лекарство

Л. Кончины обстоятельства

К. Под боком, —

Оно

Л. За разъяснением с небес

К. В сермяжной... Слушай,

Удар, сразивший твоего отца, По злой иронии судьбы — мороз по коже! — Предназначался — ну, кому б ты думал? Ни больше и ни меньше, как "убийце" В вение

отца его,

из-за венца!

Входит придворный.

В чём дело?

Придв. Бумеранг и Гильденстерн. Простите, Гильденстерн и Розенкранц: Аудиенции испрашивают, возвернувшись.

К. Как — "извернувшись"? Что за ерунда!

Придв. В пути столкнувшись с непредвиденной помехой.

Подробностей не говорят и рвутся прямо к Вам.

К. Впустить.

Входят Розенкранц и Гильденстерн.

Р. Приветствуем Вас, государь!

К. Kakoro!..

Привет вам, господа. Чему обязан Столь неожиданному обороту?

P. Bame

Гиль. Величество! И двух

Р. Дней

Гиль. Мы на море не

Р. Проболтались,

Гиль. Как

Р. Наткнулись

Гиль. На

Р. Флибустьера, до

Гиль. Зубов

Оба. Вооружённого, и хода быстротой Превосходившего нас также.

Р. Подпустив,

Гиль. Пошли на абордаж.

Р. И не успели

Мы

Гиль. С подопечным нашим во главе, Р. Вскарабкаться на палубу пирата, Гиль. Как тот отчалил да и был таков, С побычей —

Р. Вашего величества посольством! Гиль. Хозяева с гостями обощлись Весьма по-божески.

Р. Но, так сказать, понятно — Не за красивые глаза...

Гиль. Им, государь,

Жизнь их рабойничья поднадоела, И

Р. Уповая на маневр: оставив В заложниках наследника престола,

Гиль. А нас отправив с ультиматумом к отцу, Оба. Они комиссии испрашивают, государь, У Вас во флоте.

(Р. отдаёт письмо. Король читает. Лаэрт, Р. и Гиль. раскланиваются.)

К. Что ж, посмотрим, На что они годяться. По всему — Толковые ребята. Розенстерн, Отдайте лорду-канцлеру. Скажите Пусть подготовит отношение, — мол дескать, "Добро" и всё такое прочее. И принца, Мол — во дворец, не медля ни секунды.

(Уходит Розенстерн.)

И вы свободны.

(Уходят Р. и Гиль.)

Л. Провидение само. Расчувствовавшись, мне пошло навстречу. Я, кажется, дождаться не могу, Когда, столкнувшись с психом с глазу на глаз,

К. Недаром говорится, на ловца... Опять же, как это: ум хорошо,.. короче, Ты обещаешь глупостей не делать И предоставить лидеру подумать О наилучшем варианте гонок, — Из интересов общих исходя?

Л. Йдёт, но лишь в той степени, в которой План гарантирует желаемый итог.

К. Вот именно. И чтобы без огласки.

Не только чтобы ни комар, мамаша Не подточила носа. Слушай, — Пока отсутствовал ты, тут болтался Нормандец из Нормандии. Довольно Я на своём веку перевидал французов, — Но этот, но такого: к лошадёнке Несчастной присосавшись и с седлом Как будто слившись, выдавал такое!

Л. Нормандец, говорите?

К. Если память

Л. Не иначе, Ламонт.

К. Он самый.

Л. Всё понятно:

Дружок мой закадычный.

К. О тебе

Он отзывался как о джентельмене, Всё время нажимая на клинок. Де отыщись соперник для тебя Достойный, поединок оказался Бы зрелищем незабываемым.

Л. Уж будто!

К. Он Гамлета до чёртиков довёл Восторгами своими, — до того, Что тот, покой утратив, ни о чём Ином не помышлял, как о твоём Скорейшем возвращении, дабы ... План проще репы пареной: шу шу шу Касательно твоих бойцовских шу В присутствии сыночка, шу шу шу шу шу его на петушиный лад, шу шу б в единоборстве на рапирах вас. Шу шу настолько невнимателен, наивен Настолько и беспечен до того, Что простаку и в голову не вступит Мысль о шу шу шу изловчившись — Как это, ловкость рук и —

Ну, словом (а не то шу шу́), Отточенной рапирой завладев: Удар! и за отца ты рассчи шу́ шу. Поди сыщи виновного потом — Несчастный случай да и шу́ шу, "на работе"...

Л. Шу шу́ шу производственная. К. Вроде.

Эльсинор. Кладбище. Входят Гамлет и Горацио.

Г. Итак, ты разыскал меня— Гор. Без затруднений. Координатами обзаведясь экс-флибустьеров.

Г. Когда бы не они... Ты знаешь, друг, Что за история со мною приключилась — Гор. Что за история?

Г. Ворочаюсь на койке. Вдруг осенило как бы: и — в карманы Моих сопровождающих... Бумага! — Которой — О, злодейство из злодейств! — Предписывалось: по прочтении — башку мне От туловища отделить!

Гор. Да что Вы!

Г. Как выкрутился я: переписав, — Подмётное послание: с указом Об отсечении подателям его Голов на месте, по прочтении, — писульку На место возвратил.

Гор. Невероятно!..

Г. Наутро заваруха с флибустьером. К ним в гости угодив — уже ты знаешь — Я с конвоирами своими, — сделав ручкой (В душе, конечно) там же пожелав Им без помех до Англии добраться, — Расстался. Ну, не время ль рассчитаться, Испив подвохов переполненную чашу! Убрал отца, мамашу обесчестил И, выборы фальсифицировав, пролез На трон, меня оставив с носом — Пока я в этом институте прохлаждался.

Теперь и до меня добрался!

Гор. Но милорд!

Г. Ну, разве не грешно

Позволить, запустив, зловредной шишке Злокачественной обернуться? Р-раз, и нету!...

(Из ямы неподалёку фонтан земли.)

Могильщик.

Нам песня строить и жить помога-ет...

Г.(подхватывая череп, задумчиво) Она, как друг, — и зовёт, и (заканчивая на певческой ноте) ве-дёт — Мог.

N тот, кто с песней по жизни шага-ет... Γ .(увёртываясь от следующего из ямы черепа.

То же и Горацио)

Скажи, добрый человек, чья это могила?

Mor.

Тот никогда и нигде не пропа-дёт! Ничья, сударь.

Г. Нет, серьёзно.

Мог. Потому что это вовсе и не могила.

Г. А что?

Мог. Не могила, и всё тут.

Г. А что?

Мог. Это, сударь, дом для одного престарелого.

Г. Бездельник за словом в карман не лезет. Ейбогу, Горацио, за эти несколько лет расплодилось столько грамотеев, что я не удивлюсь если у этого землекопа окажется диплом какого-нибудь филолога.

— И давно ты работаешь могильщиком?

Мог. Изо всех лет в году — с того самого, когда покойный король наш одолел бочку рейнского.

Г. Как давно это было?

Мог. А Вы сами разве не знаете? В тот самый день, когда из печати вышел "Принц датский", который вот уже с лишним триста лет водит за нос весь мир, прикидываясь сумасшедшим.

Г. Говорят, он сошёл! с ума

Мог. По-настоящему — позже, в XX веке.

Г. Отчего же он всё-таки сошёл с ума?

Мог. От одиночества, сударь.

Г. Гм. Так для кого же ты, всё-таки, роешь, или как ты говоришь, строишь эту... дом?

Мог. Для "Гамлета", сударь.

Г. Разве он уже устарел?

Мог. Да, сударь. У легенды появился новый наследник. Здоровый.

Г. У какой легенды?

Мог. Да у всё той же, сударь, — О Гамлете, дай ей Бог вечного здоровья.

Г.(в сторону) Кажется, догадались... Вот черти! — Так с приплодом, говоришь, легенда?

Мог. Так точно, сударь, с Лаэртидом, Телемахом. Г. Ничего не понимаю.

Мог. А тут и понимать нечего. Вы что-нибудь о перевертнях слышали?

Г. Кто же о них не слыхал. Но только их нельзя принимать всерьёз. Это же шутки: атом робот обормота.

Мог. Во всякой шутке есть доля правды, сударь. Вот мы, бывало, с кумом — царство ему небесное — выйдем ввечеру за ворота да затянем дуэтом: "Ад, мука искать такси. А, кум?" — "Да!"

Г. Нет, ты только послушай этого Эзопа, а, Гора-

цио! Ну, хорошо. А Гамлет-то тут при чём?

Мог. А всё при том же, сударь Если Вы прочтёте его имя наоборот...

Гор. Ваша светлость!!.

Г. Увы, мой друг единственный, и аж. Ни звука до поры до времени об этом, Покамест не окрепну в новой роли — В компании судеб наоборот: Бесплотного отца, фальшивой Пенелопы, Богини, обернувшейся змеёй (Офелией, эмблемой во плоти), И женихов, добившихся-таки Со временем руки своей царицы.

Гор. Но на глазах у Бога, Ваша честь? Не в соответствии же с глупой поговоркой О слабости Всевышнего ко сну На радость разгулявшемуся чёрту?

Г. Друг, попустительством прохлопавших небес; Не рассмотревших в суматохе смены Правительств, воскрешения порядка И становления устоев триединых — Реакционной сущности Морфея, Лазутчика языческого в маске Приверженца нововведения, и Бога Однажды усыпившего.

Гор. Всё ясно, — Во тьме тысячелетий промелькнувших Нечистому дав передышку и позволив Плоды духовной эволюции отравой Неверия в победу подменить.

Г. Единственный из уцелевших в катастрофе На расходившихся волнах порока — Я — наконец-то! — снова на земле, В обнимку с парой досок от легенды, Скреплённой Гуттенбергом. Наконец-то! — Я снова на земле. Мой путь окончен, Горацио. Но весь я не умру, — Душа в заветной лире Мой прах переживёт и тленья убежит. И память обо мне в подлунном мире, В ХХ-ом вспыхнув, к жизни возродит... Мог.

Как много девушек хоро-ших...

Г. И всё-таки, Горацио, — как ни сурово обощёлся со мной христианский мир, мне жаль с ним расставаться: худо-бедно, а меня приютившим. Что бы я делал тут без тебя, моего Пятницы, и не знаю... Спасибо тебе!

Гор. Милорд!..

Г. Ну, ну, Горацио, — а то и я... Расстанемся мужчинами, мой друг.

(Обнимаются.)

Но тс!.. Давай-ка спрячемся. Король! С супругой,.. и придворными Гор.(к мог.) Послушай.

Как звать тебя?

Mor.

Как много ласковых и-мён — А как всех людей нашей профессии, сударь, —

Эпилогом.

(Горацио отходит в сторону, вслед за Гамлетом.)

Входят священнослужители, во главе похоронной процессии. Король, королева и придворные.

Г.(в сторону) Ах, да... Офелия, бедняжка! Утонула

Чуть было не. В последний, верно, раз. — Горацио, как, всё-таки, произошло несчастье?

Гор. Как ни присматривал за ней поэт, Так и не усмотрел, занявшись нами. Я к королю был вызван, — получив Приказ Вас разыскать и во дворец доставить. Король был не один. Они с Лаэртом —

Г. Лаэрт вернулся?.. (В сторону) Тьфу ты, позабыл.

Гор. О чём-то перешёптывались — Г.(в сторону)

Знаю . . .

Гор. Вдруг входит королева. Вся в слезах. Офелия, мол, утонула.

Г. Боже мой!

Гор. Гербарий из ромашки и крапивы, Из лютиков и орхидей нескромных, — Похожих на: у пастухов — (на ухо Гамлету), У девушек — на пальцы опочивших, — Собрав, им попыталась изукрасить Плакучую: развесив на ветвях. Как вдруг из веток та, что послабее, Её на парашютах одеяний — крык! и В стремнину...

Г. О, довольно! В воображении безумолку всплывают Офелий поплавки — вприпрыжку Вниз по течению...

Гор. По счастию — недолго: Сонм служек и монашенок — вповалку

В тени послеобеденной — очнувшись И бросившись вдогон за полонянкой, Отбил её у вод, готовых было — Пресытившись игрушкой, пасть разинув...

Г. Офелия! О, нимфа!.. А Лаэрт?

Л. О, О, О, О! — в десятикратном на халтуру, На этот цветмет-лом из медных кранов С Кастальским током — на потребу дури Всемирной. Справедливости не дам Мгновения на размышление, и душу, — Понадобится — выложив, заставлю Мне эту глупость оплатить! Заткнитесь Вы со своей лопатой — на пока Я с чучелом родным не распрощаюсь!..

(Прыгает в могилу.)

Теперь валите и заваливайте, ну же! Меня с усопшей; Оссу взгромоздив На Пелион — на посрамление тигантам Олимп превысив во сто тысяч раз!

Г. (выступая вперёд) Кто там в малиновом берете Одном из-под земли торчит Звезде подобно на рассвете? И верещит, и верещит. Иду на Вы. Принц датский — Гамлет.

(Прыгает в могилу.)

Л. О, будъ ты проклят! (Схватывается с ним.) Г. ... Может быть, ударишь? Ты, может, мне рубашку разорвёшь? Эй, нас не трогай, мы... Ты грабли брось-ка! Не то... Предупреждение один.

К. Разнять!

К-ва. Сыночек! Гамлет!

Все. Джентельмены!

Гор. Милорд, предупредите пару раз — И вылезайте. Так сказать, довольно.

(Придворные разнимают их, и они вылезают из могилы.)

Г. Да я семь шкур с него спущу! К-ва. За что, сынок?

Г. Как я любил её!.. Все сорок бочек С двадцатью тысячами по два братьев — Разбойников, со всею их любовью Моей в подмётки не годятся! Спорим?

К.(в сторону) Да он и вправду помешался. Вот-те на!...

К-ва. Лаэрт, не осуждай беднягу.

Г. Мяу, мяу!

Подумаете, удивил: залез в могилу. Да ты и оглянуться не успел, как я был там же. И доведись над гробом вырасти холму Таких размеров, скажем, ну, пока Его верхушка, прикурив от солнца, Не оплыла, как свечка, — что Атлант! — Свой пост оставить я бы не подумал, Случись коть сто Гераклов под рукой.

К-ва. Ну, ничего, — побуйствует и перестанет, И распогодится, как после бури, Роженицей над парой близенцов.

Г. Ну, хватит кукситься. Дай пять. Не хочешь? Не уважаешь, значит, тя сязять. Счастливо — ик! — "Шумел..." вам оставаться... "А ночка тё-мная была." (Уходит.)

К-ва. О, Господи!

К. Понаблюдать бы за младенцем. Горацио, пожалуйста, не в службу —

(Уходит Горацио.)

Лаэрт, не унывай. О разговоре Не забывай. За Гамлетом, Гертруда, Пожалуйста... Уловку В момент обтяпаем. Могилку Заботой окружив, подыщем пару Как можно поскорее. С пылу, с жару.

Зала в замке. Входят Гамлет и Горацио.

Г. Горацио, чего я намолол

С Лаэртом, позабывшись!.. Жаль беднягу. Нехорошо-то как; ведь мы же с ним друзья Какие! Братья да и только — по несчастью. Нет, надо будет как-то извиниться, что ли. Но в самом-то, уж чересчур красивым Мне показалось выступление его.

Входит Озрик. Верхом на палочке, с автопередком вместо лошадиной головы; увещанный портативной радиоаппаратурой. Танец пчелы. Затем Гамлет. Озрик улетает.

Гор. Думаете, вышграете, милорд?

Г. С форой выиграю. Но только ты и не представляещь, Горацио, до чего тяжело у меня на душе. Впрочем, ерунда...

Гор. Ерунда, милорд?

Г. И ничего больше.

Комната в замке. Король и Озрик.

К. ... Гамлет —

Рассеянный и невнимательный — навряд ли Заметит он подмену, понимаешь? Переломиться может шпага, например. И вместо тренировочной, в азарте Спортивного ажиотажа, ты подсунешь (Не мешкая, конечно) принцу шпагу С отточенным как надлежит клинком.

Оз. Для начинающих задачка, государь.

К. С отметкой за невыполнение на — ("шее", показывает.)

Это не всё ещё, — клинок намажешь "Бальзамом" предварительно (тем самым . . .), Царапины воеже было нужно Для завершения комедии. Ступай. (Озрик уходит.)

Когда б я успокоился на этом, Я не был бы самим собой. Посмотрим, Нельзя ли в ситуации подобной Уловку похитрей привлечь на помощь Для 100%-ой успокоенности в деле, В котором без уверенности в средствах Затея может выйти боком. Ну-ка, ну-ка — Когда они в бою разгорячатся И у повстанца пересохнет в глотке, К его услугам будет кубок под рукой, — С напитком, от которого счастливчик, От "бабки с дедом" убежавший, лишь пригубит — И к "рыжей" прямиком на язычок!..

Большая зала в замке .1'амлет и Горацио прохаживаются по зале. Входит король, королева, Лаэрт, Озрик, вельможи и придворные с рапирами и необходимыми принадлежностями (перчатки и т. пр.)

К. Так, Гамлет, — дай твою мне руку. И ты, Лаэрт. Вот так. (Вкладывает руку Лаэрта в руку Гамлета.)

Теперь, друзья,

Рукопожатием ознаменуйте встречу.

Г. Охотно. Сударь, мне бы не хотелось Откладывать на завтра, так сказать, Доступное сегодняшнему — в деле, Подсказанном и совестью, и честью. А именно, во избежание ошибок В трактовке слов моих недавних — и поступков, Предшествовавших им — позвольте, сударь, Заверить Вас в отсутствии мотивов, Отличных от непреднамеренных; поскольку, Как это — если Бог Захочет наказать, Он разум, — У (непонятно, по каким причинам — Не совладавших с интеллектом), — отнимает. Воспользовавшись интервалом в пытках, Позвольте отрещиться мне От злого умысла в содеянном во время Эпилептической реакции на муку.

 Π . Мне дружбы истинной всегда язык понятен. Я удовлетворён в души глубинах.

Г. Я с лёгким сердцем принимаю вызов.

Подайте нам рапиры. Мне одну. Л. И мне. К. Подай им шпаги, Озрик. Гамлет, Тебе условия известны? Да, милорд. Но разрешите Вас предупредить, Что Вы мне льстите, на слабейшего поставив. К. Я не боюсь. Я видел вас обоих. Лаэрт всегда Лаэрт, — на то и фора. Рапиры одинаковые, Озрик? Оз. Да. государь. К. Вино на стол ла поживее. Откроет Гамлет первым счёт ударам — Король поднимет кубок за него. Труба подхватит, канониры вступят, И пушки, грянув в небо, перескажут О нашем торжестве земле. Сходитесь. (Озрик даёт отмашку рукой. Придворный переворачивает песочные часы.) Г. Начнём? Л. Пожалуй. (Бьются.) Г. Ecth! Л. Ничуть. К. Арбитры! Оз. Очко. Засчитан. Л. Поздравляю, принц. Продолжим? Подождите, детки, — Давайте выпьем. (Трубы, залпы за сценой.) Дайте им вина. Г. Не хочется пока. Закончим раунд Л. Продолжим? С удовольствием. Ура!.. Г. Л. Очко, очко. Я признаю. К. Гертруда, Пожалуй, выиграем? К-ва. Сомневаюсь, право. С таким дыханием...

К. Слегка не в форме.

К-ва. Гамлет,

Возьми платок, — пот градом. Вытри лоб.

Я пригублю за твой успех.

К. Гертруда!

Гертруда, подожди, не пей!

К-ва. В чём дело?

Мне хочется, и всё тут.

К.(в сторону) Слава Богу!

Уф! промахнулась, вроде...

К-ва. Дорогой,

Ну, подойди ко мне, сыночек. У, вспотел как!

Ну, ничего, ни пуха ни пера. Я выйду.

Мне... не... надолго... нездоровится.

(Уходит королева.)

Г. ... Продолжим? Л. Охотно.

(Бьются. У Гамлета ломается клинок, и Озрик подбрасывает ему другой. Гамлет ловит и ранит Лаэрта в руку.)

Л.(в сторону) О!.. Ну, коронованный двурушник!

(Выбивает шпагу у Гамлета и, завладев ею, оставляет тому свою. Схватка продолжается.)

Г. О, я убит?!.

К. Врача мне!

Гор. Государь,

И Гамлет и Лаэрт в крови!..

К. На помощь!

(Падает, хватясь за сердце.)

Оз. Лаэрт, Вы арестованы.

Г. Как странно,..

Горацио; мне кажется, как если б

Подобное я пережил уже однажды... (Опускается на пол.)

```
Гор. О, мученик! Многострадальный принц, —
                                      "однажды"!..
Не счесть — в который; не видать конца.
Нет выхода — в который; нет лекарства,
Которое могло бы Вас спасти!
До занавеса — жизни в Вас: в который!
Из-за отравленной — в который раз! — рапиры,
Подброшенной — взамен игрушечной — ребёнку.
    \bar{\Gamma}. Что с королевой?
    Γop.
                       Ложная тревога —
Вина отравленного выпив
    Г.
                        Для меня
    Гор. Чуть было не
                     Намешанного?
    Γop.
                                  Для Лаэрта.
Король бедняге не простил...
                            Чего-то?
    Г.
    Л. (падает) А за коварство Бог ему
Коварство Бог ему чего, приятель?
    Л. Велением которого ты должен —
О, благородный Гамлет! — мне простить
Свою погибель. Я ведь умираю —
Освободив тебя от обвине... в убийстве
Меня и моего...
               О чём он?
    T.
                        Бред, наверно.
    Г. Бог да простит тебя. Я за тобой.
Горацио, простимся — расстаёмся.
    Гор. Не тут-то было! (В сторону) Вновь в
                                    который раз! —
Хорошим другом был бы я, покинув
Вас одного в компании "курносой".
Тут хватит яду...
    Г.
                Кто бы ни был ты —
Оставь отраву! другом иль хорошим:
Убежище мне предоставь ты в серпце
За эпитафию в альбом души. Тс, тихо. (Над эпитафией.)
                (Канонада. Занавес.)
                  Москва 1972 г.
```

ПРИХОД

Не было ни снов, ни кошмаров, исходящих из плоти, ни тупого ощущения смерти, которой нет, ни страха, выворачивающего внутренности. Просто Григорий знал: надвигается ужас. Якобы всё оставалось на месте: дома-коробки, равнодушные к своему существованию; солнце в пустом небе; трамваи. Но в мире появилось нечто, имеющее отношение только к Григорию. Поэтому остальные ничего не замечали. Оно было скрыто, но, казалось, все вещи в миру, даже сам воздух, были лишь его оболочкой (или завесой?!). Да и то, главное было не в этом. Главное стало в сжимающейся душе Григория... Но почему она сжималась?! Может быть, что-нибудь неизвестное входило в неё, и она опустошалась?! Но зато многое выражалось в его глазах. Они, сами по себе маленькие, выкатывались, и на их поверхности соединялись такие слезы, водяные тени и испуг, что и сумасшедшие могли бы сойти с ума ещё раз. А как подпрыгивал Григорий, ведомый своими глазками!! Ноги он расставлял в стороны, широко, как лягушка; и затем прыгал вперед, в пространство. Официанты одобрительно смеялись, глядя на эти сцены. Волось у него при этом поднимались вверх, как у Мефистофеля.

Но на самом деле эти прыжки вовсе не выражали ужаса Григория, напротив, скорее это было его веселие, может быть, просто развлечение, в котором он отдыхал. Сам ужас ни в чем не выражался. Точнее, пока ещё в полной мере ужаса не было, было только его приближение. Но и оно было невыразимо, так что обычный ужас стал веселием по сравнению с этим.

Григорий очень полюбил обычный ужас с тех пор. как ..оно" стало напвигаться. Как веселый поэт. он несколько раз бегал из конца в конец по длинному мосту, поднятому высоко над рекой, и все время заглядывал вниз, в бездну. Туда, как всегда, манило, и всё создавало комфорт для бессмертного прыжка вниз: и теплый летний ветерок, и зелень лесов на берегу, и синее солнечное небо, и томная гладь реки. Но Григорий, который раньше боялся смотреть вниз даже со второго этажа, теперь хохотал, глядя в эту смерть на лету. Он скакал по краю моста, как бессмысленная и радостная птичка. Только что не было крылышек. Дома сжег всё, что написал за десять лет. Прогнал жену, которую любил изнутри. А глаза все наполнялись и наполнялись приближением, которое ни в чем не выражалось, но, вместе с тем, вытесняло и страх, и слезы, и водяные тени. Глаза становились не глазами.

Чем же стали его глаза?! Но никто их, по существу, не видел.

 Привидение, привидение! — правда, закричала одна маленькая девочка.

Но она была слишком слаба и могла принять хоккейную клюшку за призрак.

Кошки и те не разбегались от глаз Григория. Да и он стал смотреть в одни стены. Ожидая, что там появятся знаки, пусть почти невидимые, на камнях, на стекле, в самом воздухе, между сплетающимися цветами на подоконниках. Он, правда, их так и не увидел, но ему казалось, что некоторые — тихие, без шляп — грозили пальцами: туда, сквозь розы. Но тот, другой знак, который видеощущал Григорий, был абсолютен. Он был во всём. И на исходе третьего месяца Григорий стал трястись мелкой такой, абстрактной и непрерывной дрожью. Члены отрывались от головы, которая холодела.

И тогда в его глазах вдруг появилось последнее выражение предчувствия. Оно явственно говорило о том, что ужас скоро грядет. Иными словами, приход совсем близок. Приход, который относится только к Григорию, приход, который вызывает в душе его толь-

ко ужас, но без всякого осознания, кто и что придет.

Стал, подпрыгивая, бить себя палкой по голове. Как сладка бывает человеческая боль!

И внезапно захохотал! Утром, когда весь мир был погружен в сон. О, это был не тот хохот, когда он глядел в бездну! Это был непрерывный тотальный хохот, не прекращающийся ни на минуту, ни на вздох. Да и по сути иной. Правда, в нем слышались светоносные рыдания, приглушенные, однако, волнами смеха.

Кроме рыданий слышалось также безразличие, которое тоже заглушалось хохотом. А за далью безразличия был холод, который проникал ещё дальше, в сам хохот, но тоже был им отодвинут, чуть отзываясь ледяным безумием в раскатах этого смеха. Но хохот был выше всего. Он покрывал саму смерть, возвышаясь над нею, как мрак. Таким хохотом можно было бы захохотать Ангелов.

Шел третий час такого непрерывного хохота. Григорий был один в своей комнате. То ли он сидел, то ли застыл в невиданной позе?!

Но он целиком ушел в высший мрак своего хохота. Вдруг кругом стало стремительно светлеть, словно весь мир превращался в светло-призрачный. Сознание разрывалось, на мгновение переставая быть, и что-то незнаемое и вошедшее в его душу сразу уходило вверх, в небо, а что-то оставалось здесь, в душе... Как в вихре, он изменялся, ничего не понимая...

Очнулся он одиноким. Никакого ужаса не было. "Когда же будет приход?" — подумал он. И сразу почувствовал, что его уже не терзает это. Сонно и светло оглядел он комнату, дома за окном, часы у стены. "Наконец-то всё в порядке", — решил Григорий.

Везде, действительно, был порядок. И сам он светился. Дома были не дома, стены не стены. Душа словно превратилась в ледяную глыбу. И глаза, видя, не видели. Какой-то занавес рухнул.

Не было и привычных дум о смерти.

Но зато стало так странно, что исчезло само понятие о странности, а её реальность превратилась в обыденность, не теряя при этом ничего. — Да во что превратилось мое тело? — спокойно подумал Григорий.

Точно оно стало душою, а душа превратилась в тело.

Он вышел. Люди казались тенями, шум их небытия уходил в потустороннее этому миру. Всё вроде бы чуть-чуть сдвинулось. Но внутри него было не "чутьчуть", а то, о чем нельзя было даже задавать вопросов. Неба как будто не было, точнее, всё превратилось в небо, в котором плыли осторожные призраки — прежние люди, твари, дома.

И тогда Григория охватила белая, пронизывающая радость — радость от того, что всё умирает, что всё в полном порядке...

Радость вне судьбы и всего того, что происходит... Радость помимо существования... Она выбросила его в ближний переулок... Он плыл вперед. И внезапно — за оградой, в саду, у стола со скамейкой, в стороне от старинного дома — он увидел существ. Они были белые, высокие, светящиеся, с узкими, длинными, как свечи, головами, уходящими ввысь, словно растворенными в небе. Они как бы плыли, в то же время ступая по земле, и светло белели подавляющим крайним бытием.

Их оторванность ото всего больно ранила Григория. Он дико закричал, — хотя какой может быть крик в том мире, где царит полный порядок! Этот крик не изменил его, и он остался кричать, как цапля повисшая над озером. Для существ ничего не существовало, что было ему знакомо...

— Боже, как он высок, как он высок! — застонал "Григорий", указывая на одного — Что они "делают", что "говорят", что "думают"?!!.. Есть ли между нами нить?!!..

И он стал пристально, тихо прижавшись к дереву, вглядываться в них. Какое счастье, что они и его не замечали! Выдержал бы он их внимание!?

Призрачно-странный порядок — тот, который появился после его пробуждения — неожиданно разрушался, чем больше он вглядывался в существа. Может быть, он просто заполнял собой всё. Его душа росла и росла, по мере того, как он исступленно глядел на них. А они, видимо, не замечали его, оторванные ото всего, что прежде было реальностью. Они плыли мимо себя, постоянно пребывая в себе и в чем-то ещё.

— До какой степени они вне? — думал Григорий телом и был не в силах оторваться от них взглядом, хотя эта прикованность всё изменяла и изменяла его (по ту сторону спокойствия и тревоги), с каждой минутой всё мощнее и скорее, и он быстро терял возможность остановиться и выйти в прежний белый покой, в котором — строго говоря — не было никакого покоя.

И тогда он увидел круг. Один большой светлый круг над миром, круг, ранее им не видимый, но который, в сущности, был невидим им и теперь — для тайно возникшего в нем интеллектуального света — так как был навеки скрыт ото всего своей белизной.

И тогда Григорий опять закричал. "С ними я могу... С этими лицами! — он посмотрел на существа. — Но в этом круге я исчезну! О, зачем, зачем?!"

И он закрыл глаза, чтобы не видеть холодно-ослепительного божества.

Но существа вдруг открылись. Он понял, что есть нить — нить между ним и ими.

Ему даже показалось, что тот высокий сделал еле заметное движение, чтобы призвать Григория к себе — как собрата. Григорий двинулся навстречу — туда, к существам. И в ответ сознание его окончательно рассыпалось — рассыпалось на чуткие, безымянные искры, которые летали в пустоте, как от костра.

На мгновение он ощутил себя блаженным идиотом, который с высунутым языком наблюдает полет своих слюн. Но в то же время распавшееся сознание обнажило пустоту — белую, странную пустоту внутри него, которая сразу стала оживать и шевелиться. И ему почудилось, что он уже может общаться с этой пробужденной пустотой, ставшей белой, с теми светлыми, плывущими над изменённым миром существами.

Может быть, он уже "говорил" с ними. Но исчезающая привычка осознавать мешала ему войти в но-

вый мир — вернее, помешала на секунду... Искры вспыхнули и погасли...

И когда Григорий подбежал к существам, он уже был не Григорий... Он только весело вертелся посреди — словно помахивая хвостиком — под непонятным и холодно-зачарованным свето-взглядом, исходящим от их тел...

Игорь Бурихин

СИЛЬНАЯ КАК СМЕРТЬ И ЛЮБОВЬ

Лучше бы я взял нож и убил тебя сам чем затмевать и длить эту обоюдную месть

чем оставлять тебя на съедение смерти, чтобы и веснушки твои воспетые стали норами для червей.

Глупо ты устроила праздник. Ибо самоубийство в столь еще юном теле хоть и праздничнее чем смерть

долгая от тех же недугов — что же он стоит неокончен? Что ж ты в окне невестой с видом на тот же стикс.

Присные летят как на падаль. Хищники ревнуют друг друга. Вот и я оторвал кусок. Проглотить мешает спазм вожделенья.

Или так долго души бедствуют над землею. Нарциссом глядятся в тело. И возбуждают нас.

Елене Шварц

Господи осталось костей постучать во славу Твою, семени развеять что плоть в поучение путей не Твоих.

Только душа тать смотрит в свою ночь вьется в себе без форм бедствует косится на память.

Разори ю Господи глубиной Твоей голубиной

выверни ю уютную утлую во юдоли

Словом что у юродивой меч обоюдоострый.

Ты пройди ю столпом огненным! убо пред Тобой она — дева

Господи что за звук да среди бледна дня в зубы ему глядит бедствующий мой ум

Господи поди кгб мне уж ведет попа дабы не исполать тварное исповесть

ежели Ты хочешь чтоб я слушал по гроб очей варварские толки про немцев посреде немых и глухих

ежели Ты хочешь чтоб я был у Тебя верный свидетель как поползет китай из манихейских недр

ежели Ты хочешь чтоб я употребил мой век в этой Твоей россии силу Ты мне святости дай!

In some ancient city . . .

winter turns its palms inward rivers flow nothing moves now before the palace gates the water motionless

without a wave

winter turns its body northward the streams are full with spring rains

i touch the golden gates that touch the sky

i hear the nighthawks cry it is early morning

city of ebony windows the mice the rats the drunks the virgins and the whores

this garden of man and woman this male this female this body of day and night are one

from my rented window i watch the summer winds bathe your scars

babylon your wounds will heal if only you might enter paradise

alexandria the nile washes your banks

when great cities lose their proportion nothing is beneath them and they fall

city of lights unknown city of infinite night jerusalem you are the ancient city the land of origin land of return

man does not fear the darkness magnets of day and night balance morning and evening

woman knows man and neither hide their bodies familiar vessels attract and repel

the palace of man and woman rises into a cloudless sky beyond your gates night reclines in the cold shade of jagged rock

sons and daughters behold the source of their bodies and they themselves deny the fruit of the forbidden

tree outside the land of creation the year does not begin or end

only here in this city does the sun rise or set here the day begins and ends without reaching forth and returning without need for going beyond or coming back

Е. Даниел Ричи Перевод **Аркадия Ровнера**

В некоем полисе...

зима согревает ладони а воды упрямы пустынна дворцовая площадь вода неподвижна зима повернула на север потоки с дождями я трогаю золото трогает небо ворот и ястреба трепет и утра на эбонитовых окнах на крысах на пьяни на девах на девках

на всем

этот сад где мужчина и женщина самка самен их дневные ночные тела нераздельны я ветром дышу из чужого приюта окна о шрамы омой вавилон только рай исцелит твои раны нил моет александрия твои берега потеряв равновесие без опоры рушится город древний город света и ночи неведомый иерусалим страна без исхода нет страха перед тьмой дня и ночи магниты уравновешивают утро и вечер женщина знает мужчину и они своих тел не скрывают глиняные сосуды отталкивают и влекут замок мужчины и женщины в голубое взметается небо ночь раскинула за воротами зубчатой холодную тень скалы сыновья и дочери обретают тайны своих тел отвергают плоды сами запретного древа вне пра родины не начинается и не кончается год только в полисе солнце встает и садится здесь конец и начало дня в этих пределах нет нужды ему прятаться и возвращаться

East of Eden

When sun sets in the west on the sea, he turns east of Eden and faces a forest of eagles.

Snow covers the hills and trees: wind rustles

Snow covers the hills and trees; wind rustles through dry leaves.

Light clings to the wood, under the branches, a thousand quarter moons.

The yellow sphere spreads out chips of light on the water

The angel of death rides on the shoulder of the fleeing youth, eats his insides clean, and whispers 'Aquel Arre' in his ear,

At the cry of the "Witches' Sabbath," his feet grip dirt; every pore of skin, a wet bead, open.

Water returns to water and becomes air. His body is water, air, and earth.

Sun travels beneath the land through earth and water, rising.

A light flickers in the depths where no one touches, the sky inside.

Each detail rises. Each body receives its own body round itself:

the thighs
buttocks legs,
the chest shoulders arms
and hands

of each one attend the first light.

На востоке Эдема

Солнце скрывается в море на востоке Эдема в царстве химер.

Снег прячет холмы и деревья, листьями ветер хрустит.

Свет тянется к лесу, роняя под ветви тысячи лунных серпов.

Желтый шар рассыпает в воде стружки света.

Черный ангел повис над плечами бегущего юноши, занятый страшной трапезой,

"Aquel Arre" шепчет он на ухо.

С криком "Шабаш!" ноги его загребают прах

в каждой открытой поре влажные бусинки страха.

Воды возвращаются к водам

и превращаются в воздух.

Его тело вода, воздух, земля.

Солнце странствует под землею сквозь почвы и воды — и восходит.

Свет мерцает в глубинах, на внутреннем небе, которых никто не касался.

Каждая малость рождается заново.

Каждое тело обретает вокруг себя новое тело:

бедра, ягодицы, ноги, грудь, плечи и кисти рук

внимают первому свету.

По стенам вдоль палат, подсвеченных луной, теней бесшумный сад раскрылся предо мной.

Безлистый сад теней, потусторонний сад, с окна госпиталей который был отснят.

Когда погас там свет, тогда во тьме палат на матовой стене стал проявляться сад.

Сад проступал, как пот, по белизне стены, похожий на погост, на длинный свет луны.

Без гнезд, без птиц, один на глубину палат, как слабый негатив, впотьмах качался сад.

Знобил кусты апрель, и в паузах меж снов от окон до дверей сад длился, как панно.

И различал сквозь сны, как отделясь от них, за кирпичом стены гудел живой двойник.

Один на всех калек, один — на тьму палат, размноженный, как след, потусторонний сад.

Leonid Aranzon Translation by Richard McKane

Along the walls by the wards, candle-lit by the moon, the rustleless garden of shadows opened out before me.

Leafless garden of shadows, the garden on the other side, was snatched away from the windows of hospitals.

When the lights were put out, there, in the darkness of the wards on a lusterless wall the garden began to surface.

Garden burst out, like sweat, through whiteness of wall, a graveyard, the long light of the moon.

The soundless garden in the dark was as hazy as a blurred negative alone in the depth of the wards.

April fevered the bushes, and in pauses between dreams the garden hung like a tapestry against windows and doors.

As though separating from dreams I saw through them behind the brick of the wall the buzzing of a living double.

Alone to all cripples, alone to the darkness of the wards multiple as a track, the garden on the other side. Как хорошо в покинутых местах! Покинутых людьми, но не богами. И дождь идет, и мокнет красота старинной рощи, поднятой холмами.

И дождь идет, и мокнет красота старинной рощи, поднятой холмами. Мы тут одни, нам люди не чета. О что за благо выпивать в тумане!

Мы тут одни, нам люди не чета. О что за благо выпивать в тумане! Запомни путь слетевшего листа и мысль о том, что мы идем за нами.

Запомни путь слетевшего листа и мысль о том, что мы идем за нами. Кто наградил нас, друг, такими снами? Или себя мы наградили сами?

Кто наградил нас, друг, такими снами? Или себя мы наградили сами? Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта: ни тяготы в душе, ни порожа в нагане.

Ни самого нагана. Видит Бог, чтоб застрелиться тут, не надо ничего.

How good it is in these abandoned places, abandoned by men but not the gods. It's raining, sodden the beauty of the ancient mountain forest.

It's raining, sodden the beauty of the ancient mountain forest. We're alone here. No people are our equals. Oh, how blessed it is to drink in the mist.

We're alone here. No people are our equals. Oh, how blessed it is to drink in the mist. Let us remember the path of the fallen leaf, and the idea that we go on after us.

Let us remember the path of the fallen leaf, and the idea that we go on after us. Who rewarded us with these dreams, or did we give ourselves this reward?

Who rewarded us with these dreams, or did we give ourselves this reward?

To shoot oneself here one needs no devil, no bitterness in the soul or powder in the gun:

God sees that to shoot oneself here one needs nothing.

Вода в садах, сады — в воде. Вдоль них спокойные прогулки, пустые замки Петербурга и небо при одной звезде. Красиво все, печаль везде. Внутри построенной природы брожу как юноша безродный или как Пушкин в бороде.

1968 г.



Стихотворение написанное в ожидании пробуждения

Резвится фауна во флоре, топча ее и поедая, а на холме сидит Даная, и оттого вуаль во взоре, и оттого тоска кругом, что эта дева молодая прелюбодействует с холмом!

май, утро

Широкой лавою цветов, своим пахучим изверженьем холм обливается, прервать уже не в силах наслажденья: из каждой поры бьют ключи, ключи цветов и Божьей славы,

и образ бабочки летит, как испаренье этой лавы.

Water in the gardens, gardens standing in water. Peaceful walks beside them.
The empty castles of Petersburg, and the one-starred sky.
Everything is beautiful. Sadness is everywhere. I wander unrecognized in this created nature like a bearded Pushkin.

1968

Poem Written in Expectation of Awakening

The fauna frolic in the flora, trampling and eating it.
Danae sits on a hill, her eyes misted over.
There is sadness all around because the young girl is fornicating with the hill.

May, morning

** *

With a scented eruption in the spreading lava of flowers the hill is flooded, and to break off the coming bliss is not in ones power.

From every pore springs beat, springs of flowers and the glory of God,

and the symbol of a butterfly flies up as the expiration of the lava steam-cloud.

Два одинаковых сонета

Ι

Любовь моя, спи золотко мое, вся кожею атласною одета. Мне кажется, что мы встречались где-то: мне так знаком сосок твой и белье.

О, как к лицу! О, как тебе! О, как идет! весь этот день, весь этот Бах, все тело это! и этот день, и этот Бах, и самолет, летящий там, летящий здесь, летящий где-то!

И в этот сад, и в этот Бах, и в этот миг усни, любовь моя, усни не укрываясь: и лик и зад, и зад и пах, и пах и лик пусть все уснет, пусть все уснет, моя живая!

Не приближаясь ни на йоту, ни на шаг, отдайся мне во всех садах и падежах.

П

Любовь моя, спи золотко мое, вся кожею атласною одета, мне кажется, что мы встречались где-то: мне так знаком сосок твой и белье.

О, как к лицу! О, как тебе! О, как идет! весь этот день, весь этот Бах, все тело это! и этот день, и этот Бах, и самолет, летящий там, летящий здесь, летящий где-то!

И в этот сад, и в этот Бах, и в этот миг усни, любовь моя, усни, не укрываясь: и лик, и зад, и зад и пах, и пах и лик — пусть все уснет, пусть все уснет, моя живая!

Не приближаясь ни на йоту, ни на шаг, отдайся мне во всех садах и падежах.

1969 г.

Two Identical Sonnets

Ι

My love, sleep, my little golden one, dressed all in satin skin. I seem to think we've met somewhere: I know your nipple so well and your underwear.

How it suits you, how it goes with you, it's just you, all this day, all this Bach, all this body, This day, and this Bach and this plane flying there, flying here, flying somewhere.

Into this garden, into this Bach, into this moment, fall asleep, my love, fall asleep without covering up, countenance and bottom, bottom and womanhood, womanhood and countenance, let all sleep, let all sleep, my living one,

not approaching one iota, not one step, give yourself up to me in all gardens and declensions.

II

My love, sleep, my little golden one, dressed all in satin skin. I seem to think we've met somewhere: I know your nipple so well and your underwear.

How it suits you, how it goes with you, it's just you, all this day, all this Bach, all this body. This day, and this Bach and this plane flying there, flying here, flying somewhere.

Into this garden, into this Bach, into this moment, fall asleep, my love, fall asleep without covering up: countenance and bottom, bottom and womanhood, womanhood and countenance,

let all sleep, let all sleep, my living one. Not approaching one iota, not one step, give yourself up to me in all gardens and declensions.

Илья Бокштейн

Памяти Леонида Аранзона

Здесь кроме тишины кого-то нет кого-то нет, застыло удивленье струится дождь, как с листьев тонкий свет, намокший лист — зеленое затменье, намокший лист — намек освобожденья разрыв — теперь мы людям не чета теперь мы чуть — от ветра отклоненье хоть ветра нет — есть чистота листа. Здесь кроме тишины поэта нет последних листьев наводненье проходит дождь, как с ветки тонкий свет. как таинство его освобожденья. Он понял: здесь не нужен парабеллум ни мрака на душе, ни даже вспышки гнева и счастье здесь не стоит птичьего хвоста. здесь ничего не нужно --

в такт тишине растаять — мокнет красота, и капли тяжелы как свежесть чутко белая и капли тяжелы, как свежесть — шутка белая, не помню, осень ли, весна с дождя слетела — запомнить след летящего листа.

Ilya Bokshtein Translation by Richard McKane

To L. Aranzon

Here apart from the silence there's someone missing, someone missing.
Only surprise remains.
The rain streams down, as a quiet thin light.
A sodden leaf.
A green eclipse.
A sodden leaf.
A hint of freedom.
The break: now no people Now we're a little swayed leaf.

The break: now no people are our equals.

Now we're a little swayed by the wind,
although there is no wind. There is the purity
of the leaf.

Here apart from the silence there is no poet. The surprise of sodden leaves.

The rain streams down so quietly as though it were light.

as though it were the secret of its freedom. He realized: no parabellum is necessary here, no darkness in the soul, not even light sadness, and happiness isn't even worth a bird's tailfeathers.

To melt in time with the silence.

Beauty is sodden, and the drops are heavy, as freshness delicately white, and the drops are heavy, as freshness — a white joke.

I don't remember whether autumn or spring fell with the rain.

Let us remember the path of the fallen leaf.

Евангелист Иоанн в пустыне

Я читаю Евангелие овцам и львам травам и звёздам — всем, кто поступит в переработку мирового самосознания, чтобы они могли вспомнить, что слушали Бога ещё будучи младенцами.

Иов

Зачем ты споришь с сатаной о моей душе? Чтоб книгу сотворить о ней? Я возмещу тебе несчастья, на тебя обрушенные, чтоб ты любил меня не только за добро, но в самом сокровенном усомнился, чтобы сомненье не служило сатане.

Поэма воскресенья

В пути забыл я о судьбе себе не ждать конца нашел я — верите иль нет — в дороге брошенный завет конец разлуке в нем прочёл вечерний мак в пути расцвел раскрылив три листа, концы их сблизив очертил овалом крылья Троицы — вселенной три лица.

The Evangelist John in the Wilderness

I read the Gospel to the sheep and the lions, the grass and the stars, to all who will undertake to rework the world's consciousness, so that they could have the chance to remember that they listened to God, while they were still infants.

Job

Why do you argue with Satan over my soul? So that you can create a book about it? I shall avenge you with double the misfortune that rained down on you, so that you should love me not just for the good, but in doubt of the most sacred things, so that your doubting should not serve Satan.

Poem of Resurrection

On the road I forgot about fate, and did not wait for my death. I found, believe it or not, a covenant thrown by the wayside. I read in it the end to parting. An evening poppy flowered by the path, opening three petals like wings. Where the petals narrowed it outlined the wings of the Trinity in its oval crown, the three faces of the universe.

Я увиделся с Богом чуть светлеет в уме тишина чувствует смерть ударами смеха тихо сыплется, сыплется хрупкое дерево сна какая природа согрела каплей сознанья мой прах ласкать это тонкое тело и думать о дальних мирах смотрю на тебя из ничто как будто рождён по желанью как будто особым ключом доверено мне мирозданье на меня снизошло озаренье чуть светлеет в уме тишина в чуткости тонкая веточка сна трепещет под смехом уничтоженья.

**

Свет уходит, закрасив окно, за окном стало тоже темно Черноты тишина — некролог преисподней моя комната нечистью духов полна не скажу чтобы злых — неугодних в потолке засветился один перст Господен и Крест господин.

I saw God face to face, peace glimmers in the mind. Death senses the blows of laughter. The fragile tree of dreams crumbles quietly. What nature warmed my ashes with a drop of conscience? To caress that frail Body and think of distant worlds. I look at You from my nothingness, as though born on a whim. as though creation grants me a special key. and enlightenment floods my life. Peace glimmers in the mind. in my senses the fragile twig of dreams trembles from destruction's laughter.

> ** *

The light fades, shading the window, outside it's also dark.
The silence of blackness is the obituary of Hell. My room is filled with unclean spirits.
I wouldn't say they were evil, just unwelcome. The hand of the Lord and the cross of the Master light up on the ceiling.

Двое

Они ушли оставив снаряженье И множество своих друзей Вокруг золы вечернего огня. Вокруг светало. Первое движенье дня Уже вставало около вершин А выше их никто не поднимался Поэтому там не было тропы Упали лошади, им сделали гробы Упав на скалы вертолет сломался И схороня крылатого коня Они пошли навстречу взмахам дня.

Печальных похорон летучего железа Не вышла на порог безумная слеза Протек ли бак ли, винт был кем-то срезан А может быть виной тому гроза Но он погиб как будто был животным Из слов пустых: "сломался вертолет" Из них иллюзий желтоватый плод Рождает бабочку — пример сердцам холодным В уменьи жертвовать друзьями и самим Собою ради прихоти каприза, Природа как бы сделала живым Его, дабы погибель механизма Зажгла костер, столбом поставив дым — Подуло с запада — и нету мотылька Пыльна сошла с блестящего металла Двойная смерть — прибора и зверька Их продвиженье в гору задержала Упавший жук их задавил козу Проверить бак или винить грозу В хищении железного Пегаса? Конец один — четыре смерти сразу День-Фортинбрас еще лудил кирасу И в этот миг как будто по приказу Из свода выпал юношеский серп. Их было двое: Хиллари и Шерп. Хиллари: Послушай, Шерп, ты видишь эти скалы?

Возьми веревку, палку передай

Уж день настал, как все прекрасно стало Взгляни — там ледяная борода Начальный луч стократно преломила Здесь призмы скал из каменных акул Торчат, торчат. Дай мне походный стул Хочу я посидеть. Как все здесь мило Весь горизонт как белая пила Жаль конь погиб — окрестность мне мила Жаль нет коня — проклятая кобыла Смотри, мой Шерп, как хорошо кругом Приятно мне, но дышится с трудом —

И вот полупрозрачными шарами Туман понесся к лону облаков Кипя по щелям блєдным молоком Тогда качая стройными ногами Над банками набитым рюкзаком Промолвил Хиллари:

Возможно ли тайком Вершить великое? Всегда бывает пена Шипит ли чай, родилась ли звезда Цветочек мал, но пахнет резеда Нескромно вторя воздуху вселенной, Рычит комар, вонзая храбрый зуб И воет ветер, зная про грозу.

Французский летчик Сент-Экзюпери Прекрасно говорит на эту тему Он много раз об этом говорил: Стремленье ввысь всегда рождает пену И много хладнокровных Афродит Со временем та пена породит. Ведь некогда сей юный Антуан В пустыню пал с останком самолета Там бедуин давно не ставил стан Но Антуан сбежал из переплета Теперь уже не помню право как Но в каждом слове из его страницы Сидит как первобытный крик макак Великое томленье устремиться Сорваться ввысь подальше от земли --Так говорит нам Сент-Экзюпери.

Смолк Хиллари. И смолкло бормотанье Снегов, тумана и других стихий Светила раскаленное мечтанье Всосало в дно стеклянные стихи Извечных льдов. Инейное сиянье Метнулось львами к ярким ледникам Там к солнцу, после снова к облакам И смолкло все, лишь Шерга воркованье Комками пара пало в пыль снегов Клубясь по углубленьям их следов.

Шерп: Кожа неба — шкура бубна Слово неба — гомон водный В темя бога свергнут Гангом Темя бога — школа танца Шаганьям Ганга — великана — ледника Только молкнет тело звука Бог влитый в кокон молока Рек облаком торжественных купаний И слово медленных падений и ступаний Застыло льпом в тугой кимвал ---Он так повольно долго бормотал Про этот вздор беззвучьых сотрясаний И вдруг воскликнул: Хиллари о Хиллара И глыбы лая загремели: Хиллари О Хиллари о Хиллари о Хиллари И горы воя повторили: Хиллари О Хиллари о Хиллари о Хиллари...

Шерп глупый смолк. Невразумительным обломком Вверху мерцал хрустальный Эверест Все реже становился воздух тонкий От солнца оторвался гневный крест И диск его болтался бледной пленкой Примявши палкой жалкий эдельвейс Они пошли. Пик становился ближе

А вся земля потерянней и ниже Казалось говорила им: Проснись И Хиллари оглядываясь вниз Старался удержаться альпенштоком.

Елена Шварц

Отземный дождь

Внутри Таврического сада Плутает нежная весна и почки жёсткая ограда корявая листу тесна. Я нахожу себя свечой, На полоконнике горящей. Стучащей пламени ключом То в тьму, то в этот сад саднящий. Я нахожу себя пылинкой внутри большой трубы подзорной, к стеклу прилипшей. Чьё-то око через меня бьёт взора током и рушится в ночные дали. Я нахожу себя у церкви, среди могил, у деревянной, Все в тучах небеса померкли, но льётся дождик осиянный огнями сотен свеч пасхальных, он льётся на платки и плечи, но льётся и ему навстречу, дождь свечек — пламенный попятный молить, надежды — дождь отземный, с часовен рук — детей, старух, и в дверь распахнутую вдруг поёт священник как петух и будто гул идёт подземный...

1978.

REVIEWS

Roger Lipsey: Coomaraswamy, His Life and Work. Princeton University Press. 1977.

Ананда К. Кумарасвами (1877-1947) — яркая фигура в истории и философии искусства — привлек внимание американского ученого Роджера Липси, опубликовавшего два тома работ Кумарасвами и третью книгу — собственное исследование о нем.

Сын преданного Англии цейлонского политика и администратора, обласканного Дизраэли, и англичанки из служилой кентской семьи, связанной с индийской торговлей, Кумарасвами сформировался в викторианской Англии в блистательную довоенную эпоху — время идеалистов, блейкианских мечтателей и литературного энтузиазма. Он являл собой живописное сочетание английского денди и восточного принца, став уже в молодости авторитетом в области индийского искусства, и много писал об индуизме и буддизме.

Виллиам Блейк — "наиболее индийский изо всех западных умов" — и Фридрих Ницше были основными духовными магнитами его молодости. Однако при этом в течение четырнадцати лет он был другом семьи Тагоров, разделяя с последними идеи индийского национализма и заботы по национальному просвещению. Его лондонский круг состоял из таких блестящих современников, как А. К. Орадж (друг Б. Шоу и литературный учитель К. Мансфилда, Э. Паунда, Г. Рида, а впоследствии последователь и пропагандист учения Г. И. Гурджиева), архитектор и философ А. Д. Пенти, художник Эрик Гилл и др.

В 1916 году Кумарасвами был приглашен в качестве куратора в стдел Азии Бостонского музея искусств и собрал в нем блестящую коллекцию индийского искусства. Занятия восточным и западным искусством привели его к концепции традиционного

искусства, коей толкователем он стал на долгие годы в контексте идей, развиваемых параллельно французом Рене Геноном. Кумарасвами знали в Америке как упорного приверженца традиционных ценностей и бескомпромиссного критика современной жизни.

Традиция для Кумарасвами была неоспоримой ценностью сама по себе. Традиционная культура, каковы бы ни были её недостатки, основана на понимании духовной природы человека и мира. В качестве традиционных культур Кумарасвами называл классические Индию, Египет, Китай, раннегреческую, средневековую христианскую и культуру американских индейцев.

Вершиной традиционного мира является Бог, сакральная сила, с которой всё, без исключения, — идеи, действия, предметы — находится в неизбежной связи. Традиция — это мир надежды, ибо в ней истина воплощена в способе производства вещей, в произведениях искусства, в доктрине. Но для нас, людей "современных", она и предмет постоянных сомнений, ибо не ясно, как установить связь с традицией, и является ли традиция единственным источником оздоровления жизни. По крайней мере, как считает Кумарасвами, идея традиции может породить стремление к новому качеству жизни, если не настаивать на исключительной важности случайных черт и деталей прошлого.

Роджер Липси пробует проследить историю идеи традиционализма и видит первые её проявления в реакции Ренессанса против средневековой схоластики, что представляется малоубедительным. Вполне оправдана связь этой идеи с французским традиционализмом (Джозеф де Местр), в котором политический консерватизм сочетался с призывом возвращения утраченного "образа и подобия" человека. Трудно также не заметить следов теософии и масонства, под влиянием которых был в ранней молодости основатель современного традиционализма Рене Генон, хотя впоследствии он и обратил против них всю желчь своего острого галльского пера, называя эти явления шарлатанством, псевдознанием и псевдоградиционализмом.

A. P.

Material for Thought, The Far West Press, Number 7, 1977.

Журнал этот был запуман как эксперимент, как попытка внести идею сознательного отбора в интенсивно, но хаотично открываемые в ХХ веке Запацу фрагменты традиционного знания. Это попытка избежать, с одной стороны, эзотерической всеядности и буквальности, а — с другой — обезличенности экзотерического академизма, исключающего индивидуальное, т.е. единственно подлинное отношение к знанию. Наша задача, — пишут составители журнала, — фиксировать такого рода понимание или видение современных проблем, которое помогло бы читателю избежать ложных самооценок и ожиданий и выработать у него потребность в "практической духовности". Элементы личного мистического опыта являются живой сердцевиной такого знания. Сегодня особенно велика нужда в том живущем в нас маленьком мальчике, который увидит призрачность мифов современной цивилизации, — в том внутреннем повороте, который освобождает мыслителя от самолюбования и пассивности.

Журнал, призванный стимулировать такое мышление, выбрал путь не систематического изложения, а рекомендаций определенного "круга чтения", прямо или косвенно связанного с одной из духовно влиятельных современных концепций. Издатели выбрали для журнала форму эссе и рецензий на книги, в которых рассматриваются вопросы психологии и положение человека на земле. Большинство материалов идет без подписей.

A. P.

Soviet Union, Special Issue: Kazimir Malevich, University of Arizona, №. 5, 1979.

Вышедший из печати пятый номер журнала "Soviet Union", издаваемый университетом в Аризоне под редакцией Charles'а Schacks'а, приурочен к столетию со дня рождения Казимира Малевича. По словам ре-

дакторов, работавших над составлением этого номера, John'a Bowlt'a и Charlotte Doughlass, он посвящен мало изученным аспектам творчества Малевича, связанным с теорией супрематизма.

Статья Sherwin'a Simmons'a .. The Step Beyond: Malevich and the Ka" рассматривает древнеегипетскую религиозную концепцию "Ка" в приложении к футуристической и супрематической живописи Малевича. Автор считает возможным знакомство художника с интерпретацией этого символа Хлебниковым в рассказе "Ка", который был впервые опубликован в сборнике футуристов "Московские мастера". Рассматривая картины Малевича разных периодов (от примитивизма до супрематизма), исследователь показывает, как под влиянием футуризма в супрематизме создавались новые живописные структуры. Малевич использовал понятие "Ка" не только в его первичном значении как двойника человеческой души, рождающегося одновременно с ним и продолжающего жить вне человека уже после его смерти, но и как возможность преодоления рамок пространства в сторону более высоких измерений. Связь ранних примитивистских работ Малевича с футуризмом несомненна — делает вывод автор.

Профессор L. D. Henderson в своей статье "The Merging of Time and Space" рассматривает основные положения теории П. Д. Успенского о четвёртом измерении как естественном продолжении пространства (взгляд отличный от понятия четвёртого измерения как времени) в применении к кубо-футуристическим работам Малевича и поэтическим экспериментам Крученых. Кручёных считал, что как же, как художники, находя неправильную перспективу, создают четвёртое измерение в живописи, поэты используют неправильную структуру предложения для выражения нового миропонимания.

Margaret Betz знакомит читателя в статье "Malevich's Nymphs. Erotica or Emblem?" с малознакомой работой художника "Нимфы" как переходной от примитивистского к более позднему периоду его творчества.

Анализируя "Нимф", автор видит их связь с живописно-декоративными работами Матисса, картинами и рисунками на эту же тему Лансере, Судейкина, Головина. Напряженные цветовые контрасты "Нимф" в соединении с иконографической чёткостью линии и отсутствием односторонней перспективы свидетельствуют о влиянии на Малевича таких разных живописных тенденций, как Art Nouveau, Jugenstil, неоимпрессионизм и древнерусская иконопись.

Французский исследователь творчества Малевича Jean Claude Marcade посвятил свою статью разбору теоретических работ Малевича о супрематизме. Г-н Marcade подчёркивает философский аспект наблюдений и замечаний Малевича об искусстве, особенно в тех случаях, когда художник затрагивает вопросы человеческого существования. Говоря о философской терминологии работ Малевича, автор статьи "An Approach to the Writings of Malevich" характеризует литературный стиль заметок Малевича, а также останавливается на возможных литературных и философских контактах художника, оказавших влияние на его теоретические работы. Несомненно, утверждает г-н Marcade, непосредственное знакомство Малевича с группой Богостроителей и Богоискателей. Кроме того, автор находит параллели между философией Платона и досократиков и теоретическими концепциями Малевича.

"Supremation in Architecture" — статья М. Вliznakov рассматривает работы Малевича в области архитектурного дезайна. Автор описывает "планиты" и "архитектоны" Малевича — серию работ, воплотивших в себе основные принципы супрематизма: "чистую форму, использование контрастов, динамизм и пространство".

John Bowlt — профессор университета Остин в Техасе посвятил свою статью ученикам Малевича — группе художников, работавших параллельно с ним, однако использовавших супрематизм как метод для собственных поисков. Статья рассказывает о группе "Уновис", созданной в Витебске в 1919-22 гг. Автор пытается воспроизвести основные художественные события

колонии, в которую входили такие художники, как Любовь Попова, Иван Пунин, Надежда Удальцова.

"The Fifth Meaning of the Motor-Car: Malevich and the Oberiuty" — так называется статья Ильи Левина об отношениях и несостоявшемся творческом союзе Малевича и обериутов (группы литературного авангарда, сформировавшегося в 20-х годах в Ленинграде). Автор статьи видит несомненное сходство эстетических взглядов Малевича и обериутов. Супрематическое слово-отрицание схоже с отрицанием предмета супрематизма в живописи.

Кроме того, в сборнике опубликованы статья Charlotte Doughlass "Malevich's Painting: Some Problems of Chronology", письмо Малевича директорам Второй свободной художественной студии, а также библиография его работ, не вошедших в каталог Берлинской (1927 г.) и Парижской (1978 г.) выставок (Составители: J. Bowlt и Ch. Doughlass). Выпуск сопровождается серией репродукций работ К. Малевича.

Б. Кременцова

Оккультизм и иога. Асунсион, №№ 64, 65, 66. Редактор А. Асеев.

Продолжает выходить усилиями одного человека — доктора A. M. Асеева — русский эзотерический журнал Оккультизм и иога. Журнал не участвует в борьбе за сферы влияния, не ищет успеха и не подлаживается под требования моды. Спокойно и негромко скоро уже полвека он продолжает разговор с людьми, которые не вменяют себе в заслугу незнание таких имен, как Аполлодор Гностик, св. Кирилл, Яков Бёме, Н. Федоров, Е. П. Блабатская. В нем, как всегда, радуют умная широта при отсутствии полицейских инстинктов — уличить, заклеймить, запретить, — и при неизменных устремлениях к духовному свету и даре собирания. Тон доброй беседы, поддерживаемый журналом, делает его интересным читателям самого разного интеллектуального и духовного диапазонов: и тем, у кого нет склонности к отвлеченному мышлению, но кто обогащен пережитым и испытанным, и новичкам, открывающим для себя мир "четвертого измерения", и людям творческого склада, особенно восприимчивым к духовным феноменам, и, конечно, тем, кто сознательно обращены к области мистического опыта. Есть неподдельная прелесть и подлинность в старомодности тона и слога журнала, его неторопливости, обстоятельности, достоинстве.

Д-ор А. М. Асеев — один из немногих представителей русского эзотеризма, как В. Шмаков, П. Д. Успенский, Г. О. М. Издательский подвиг А. М. Асеева — почти полувековое издание журнала, который частично выразил эту традицию, духовная работа по увеличению баланса добра в мире — заслуга, которую можно сравнить с бескорыстной издательской деятельностью Н. И. Новикова. То, что дело А. М. Асеева не имеет такого же широкого резонанса, следует отнести за счет пугающей умственной апатии западного русского читателя. Журнал на своих страницах рассказывает о даоизме, друидизме, русском мартинизме, теософии и многих других духовных явлениях, отдельные его выпуски посвящены Е. И. Рерих, Н. П. Рудниковой, В. И. Крыжановской-Рочестер, Е. П. Блаватской.

Возможно, что у читателя Оккультизма и иоги могут вызвать возражения встречающиеся в журнале, наряду с серьёзными и интересными публикациями, перепечатки из "Нового русского слова" или стоящие рядом мудрые изречения Макаренко, Сидорова, Тютчева и Лао Цзе, — возражения, которые, тем не менее, могут быть сняты, если увидеть за этим главную тенденцию журнала по собиранию добрых духовных зёрен отовсюду, на всех уровнях — от газеты и до суфийских мистиков. Важнее заметить, что журнал с доброжелательством и уважением — без брезгливой, усталой и подозрительной "партийной" установки и без готовых ярлыков — откликается на сложный и интересный духовный опыт русских 1960-70-ых годов, свидетельством чему могут служить его три последних номера.

Аркадий Ровнер

Василий Яновский: Поля Елисейские.

Книга В. Яновского была написана еще в 50-ых годах. Время, люди, ночные разговоры на Монпарнасе — все это ушло, и Яновский — их участник — остался почти единственным свидетелем необыкновенного парижского десятилетия: "...Вот Бердяев в синем берете кусает толстый, пустой мундштук для сигар. Вон Ходасевич нервно перебирает карты больными, зелеными пальцами; Федотов пощипывает профессорскую бородку и убедительно картавит. Фондаминский, похожий на грузина, смачно приглашает вас высказаться по поводу доклада; Бунин, поджарый, седеющий, во фраке, с трудом изъясняется по-французски..."

Яновский — художник, одна из главных тем которого — тема памяти, "бесконечная тяжба" со временем. Книгу составляют маленькие истории, анекдоты, литературные сплетни, которые вводят читателя в атмосферу русского Парижа 30-ых годов. Философия памяти Яновского вносит дополнительный план в этот живой поток прошлого, трансформируя его: "смерть и время, отобрав одно измерение, прибавили другое". Существование этого измерения в книге составляет особый интерес.

Непрекращающийся разговор с собой и постоянное присутствие собеседника — многоплановый образ истины — черта стиля Яновского. Вот корсткая встреча с Федотовым, бредущим в сумерках по Амстердам Авеню: "Мы беседовали несколько минут у моего крыльца, точно на бульваре Сэн Мишель.

Федотов:

— То, что вы находите у апостола Павла элементы гностицизма, это хорошо. Вот если бы их было много, тогда плохо.

Я указывал на то, что в бл. Августине больше манихейской ереси, чем в Тертуллиане — монтанисской.

— Тут важно направление. Первый шел от ереси к церкви, а второй, наоборот, удалялся, — объяснял Георгий Петрович".

Поле мысли — главное худсжественное измерение Яновского: встреча с человеком — это толчок к разви-

тию мысли. Так после встречи с Б. Поплавским, пишет Яновский, хотелось, споря с ним, создать новую метафизическую систему, а разгсворы с Ю. Фельзеном рождали ощущение интеллектуального уюта и доверительности.

Можно виделить два писательских критерия — ключа к этой книге памяти: верность "закону личной перспективы" ("чем больше таких откровенных, субъективных свидетельств, тем грубее, быть может, образ, но и пластичнее, полнее") и честность ("Aux morts on ne doit que la vérité...").

Первая публикация главы из "Полей Елисейских" была двадцать лет назад в альманахе "Воздушные пути" в Нью-Йорке. Два небольших отрывка были напечатаны в парижской газете "Русская мысль" в конце 1978 года. Журнал "Время и мы" продолжил публикацию глав из книги в своих 37-ом, 38-ом и 39-ом номерах. В настоящем номере "Гнозиса" печатается глава о Ю. Фельзене.

B. A.

Леонид Иоффе. Косые падежи, И., 1977, **Пу**ть зари, И., 1977.

У Леонида Иоффе в московско-ленинградской "ноте" своя особая тональность. Неяркая, но пристальная. Он все приглушает. Он словно стыдится линейной уверенности и плоской категоричности. Он заглушает внешнее яркое, чтобы услышать внутренний ритм.

Он вводит читателя в особое пространство — напряженной предельной совестливости. И уже оттуда звучит речь прерывистая, сбивчивая, противоречивая. Это взгляд, который не укоряет, не возмущается, а стыдится, страдает, сталкиваясь с ложью и злом. Пристальность и честность, груз благородства и нестихающая потребность в исповеди являются художественной позицией автора двух этих сборников.

Он неизбежно приходит к теме слепоты и зрячести,

начинает задыхаться от навязчивых объемов, заслоняющих видение: "Нам слепота как наказание...", "Я зрячим стану. Скоро стану зрячим...". Но поворот к видению оказывается столь же болезненным и влечет за собой новые страдания — слишком разведены для него "Вчерашнее. Сегодняшнее. Вечное."

Переход от детства с его коммунальной и дворовой романтикой к трагической серьезности и нравственной ранимости и отзывчивости, может быть, произошел для него слишком стремительно. Одним-двумя годами отделены такие стихи:

Шапка книзу, и номер мой вынут. Мне в солдаты — крутить не крутить. И московские девочки выйдут до вокзала меня проводить.

(1965)

Московское, лоскутное до смуты — столь пагубно улавливает взгляд, как городу присущие причуды по сумеречным улицам ветвят.

(1966)

И так тягуче ощущение вины слепца перед далекими и близкими, что остается только царственно выискивать резоны в чопорных затеях вышины.

(1967)

На этих стихах — печать такой стримительности: в них одновременно присутствуют глубина и лёгкость, напряжённые образы и недоговоренность, при которых читателю приходится приноравливаться, вживаться, чтобы досказать фразу, дорисовать картину, изображенную только несколькими штрихами — своеобразный синтаксический пуантелизм, проявление интелектуальной условности — и тут же следы окуджавского неореализма с пристальной честностью — чест-

ностью до оттенков — и нарастающим шестовским драматизмом:

"красив и грозен и безжалостен сей дом, наш дом земной, где вместе бъёмся над азами, где воздух ловим, словно рыбы ловим ртами вместе и порознь и снова бездны ждём."

Открытие бездны не подавляюще, а, напротив, вызывает противостояние — личное отчаянное сопротивление, с одной стороны, и — увы, часто неутолённое — желание общего дела, с другой:

"единое воздвигнуть чтобы Слово и, свод окончив, слушать красоту".

Стремление к преодолению безысходности, к "равновесию прекрасному", к миру "ласковых нравов" и нужда в единомышленниках, в братьях —

"Ведь нёс я братьям челобитную во имя того сплочения, которому дна нет, и я не схимничал, я влёкся им во след — вне находящимся и так непоправимо," —

— столь напряжённы, притяжения и отталкивания, отчаяние и надежда услышать рядом отклик на свои усилия столь велики, что в некоторых стихотворениях это принимает порой декларативную форму.

Сам поэт выделяет три периода в своём творчестве: первый — можно назвать периодом "невысокого стиля", когда в частушечно заниженных интонациях намечался ритмический рисунок строфы с перебоями ритма, внутристишными паузами:

Жить от вечера до вечера, от стакана до вина. Мне внутри, видать, помечено добредать. Дни — полосками невсхожими от сегодня до вчера. Повзрослевшие прихожие не играют в чур-чура.

А в отместку всё высокое. И деревья, и луна. И край неба, морем сотканный, пеленает пелена...

Для этого периода характерно видение деталей, знаменитое чеховское стёклышко само становится здесь объектом пристального внимания, ситуация создаётся в коротком эпизоде, — так, сцена расставания передана через толстое оконное стекло со всеми зрительными аберрациями:

Высоко раскинуты запястья над огнём купейных ночников, рукавов надломленные части из окна не смогут ничего.

И глазам в глаза не засветиться. Всё в стекло добротное ушло. И толкнулись сплюснутые лица, в занавесках пялясь тяжело,

— движения поезда оборвало эпизод.

Пристальность памяти воссоздаёт прошлое с той же пронизительностью видения и подробностями:

Но шпагой солнечной, а выпад — луч и лето, колол из тамбура, дрожа наискосок в пылинках памяти, по звуку и по цвету — иллюзионного пошиба голосок.

В стихах периода "декоративного оборота" — влияние Кандинского — появились композиции с тщательной звуковой оранжировкой. Именно в это время определился контур строфы — звуковое письмо без футуристической ломки строки, ритмической энергии и де-

кламации петербуржцев. У Иоффе, скорее, московская певучесть и синтаксис, построенный на проговоривании строфы на одном дыхании:

Рассеивались клейким шелестом на трепетные покрова декоративные аллеи, их дерева.

На лица наплывало веянье, витали дни, как самокатики весенние, детей вельветками.

Искушённость звуковой оранжировки в этих стихах умело затенена— скорее заметишь неуверенность звучания, неяркость, перебои ритма (без осознания их нарочитости), подчеркнутую угловатость.

Третий период, представленный сборником "Путь зари", несет в себе более зрелый опыт понимания — трудный, порывистый и порой дисгармоничный. Именно здесь выделяется основная тема — тоска по свету. Свет присутствует в стихах Леонида Иоффе как внутренний принцип, недостижимый образ: "Но даль вблизи неразличимая пирами света нас манит", "Над космосом лачужным возведу не соты, а гнездо на сваях света". Он же и — свет ласки, и свет памяти: "и лица дальние, на малый срок таимые, светают в нас как пятна лебединые" или наоборот, "свет ненастный":

И снова мы провозгласим, что грусть и воздух мы постигли, и правота спасёт наш флигель, где свет ненастный моросит.

Различение света и тьмы — редкая отмеченность таланта, несущего в себе дар соотнесенности с нормой, с нравственными началами:

"Луч голосом перечил с гор нам: до купола не доросли вы".

Темнота времен вызывает у него "бунт пощады": "гадала хрупкая судьба про бунт пощады", ту чуткость, при которой воспринимается "неотчетливость бед"; беспощадности времени он отвечает сожалением и печалью: "Я интересен тем, что смертен скучна история души".

"Ревнитель и грум череды" душевных метаморфоз, он преодолел смутную музыку "истории души" и оказался наедине с палящей ясностью дня, перед категоричностью последнего различения:

и день сплошной невыносимый, от синевы швыряя зной, ему — слепому жарил спину мотыгой, пашней и женой

и закоулки вер фанерных были неведомы ему, как праведник, о нвидел скверно — лишь свет и тьму.

Поэт подошел к ответственной теме. Возможно, это приближение к сфере знания метафизического — не головное, не примысленное, а императивное, неизбежное — начало его нового поэтического сборника.

Виктория Андреева

ЛИТЕРАТУРНАЯ АНКЕТА

Редакция журнала "Гнозис" обратилась к нескольким писателям и поэтам с литературной анкетой:

I. Ваши литературные учителя?

II. Ваша эстетическая концепция?

III. Ваше отношение к собственному творчеству? Печатаем полученные ответы.

**

І. В сознательные годы мне стал особенно близок Тютчев, а позже Бунин. Но Бунин учил не столько писать, сколько видеть и, вообще, пользоваться своими пятью чувствами. Разумеется, и другие поэты как-то влияли — Алексей Толстой в его лирике, Гумилев — не столько темами, сколько формой. С символистами сродства у меня мало, ценю их, главным образом, объективно, а с футуристами и прочим авангардом нет вообще никаких точек соприкосновения.

П. Считаю, что вообще писать надо ясно, коротко и заразительно — многословные стихи, за редким исключением, меня расхолаживают. Все это, конечно, звучит очень старомодно, но новое во что бы то ни стало меня не интересует, так как нового, в сущности, ничего и нет.

ПІ. В творчестве моем нет особого задания. Пишу только, когда найдет вдохновенье, то есть, вероятно, когда облечется в "формулу" то, что неясно бродит в мыслях. Я поэт-любитель, а не профессионал. Когда пишу, думаю, прежде всего, о себе, и для меня всегда неожиданно и трогательно, когда мои стихи что-то дают и другим людям.

Лидия Алексеева

Моё интервью, напечатанное в этом номере, фактически, содержит ответы на вопросы вашей анкеты.

Василий Яновский

- І. Литературные учителя? У меня Блок, Хлебников, Пастернак, Заболоцкий. Потом все они превращаются в одного, и с ним приходится воевать всю жизнь. И начинаешь думать: было бы лучше, если бы не было родственников.
- II. Поэзия как один из видов искусства преследует, прежде всего, художественные цели.

III. Подозрительно отношусь к эмоциям. Они часто фальшивят. Эмоциональность в стихах (душещепетильность), конфликты, сюжеты в прозе — все это в наши дни становится неинтересным. Остается стиль. Стиль торжествует. Поэтому, когда пишу стихи, прежде всего, думаю о Рабле и Гоголе. Я давно живу на Западе, где в искусстве идет борьба не за содержание, а за форму. Я не могу стоять в стороне от этой борьбы.

Иван Буркин

І. В прямом смысле этого слова у меня не было литературных учителей. Но, видимо, были стихийные ("подсознательные") влияния, исходящие ото всей русской литературы, причем, писателем, который больше всего меня поразил (ещё до того, как я сам стал писать) был Достоевский. Однако это не значит, что Достоевский оказал на меня сильное влияние как на писателя. Центральный момент его творчества — религиозный антропоморфизм — мне чужд.

Выделю ещё одного писателя (из тех, которых я читал до того, как начал писать) — как ни странно, Чехова. Но здесь, естественно, идет речь о влиянии в формальном смысле, в плане возможностей рассказа, предельной концентрации в нем.

Уже после того, как я "сформировался" как писатель, я сделал удивительное для себя открытие: у Ф. Сологуба, Ремизова и Платонова есть некоторые отдельные черты, близкие мне, хотя раньше я никогда не читал их прозы. Очевидно, существует какие-то импульсы, образы, астральное поле целой литературы, которые могут быть воспринимаемы разными писателями. Но это касается только отдельных черт.

В целом я вижу своё творчество и связанным с

прошлым русской литературы, и в то же время резко особенным.

И. Моя эстетическая концепция близка к метафизическому реализму. Метафизический реализм означает описание и познание реальности, которая включает в себя метафизическую сферу. Резумеется, кроме этой сферы, могут присутствовать любые другие слои реальности (от эротической до "мелкоповседневной"). Но все эти слои должны быть связаны между собой.

Два момента при этом имеют большое значение: І. Проникновение в метафизическую сферу — путем интуиции, знания, созерцания — должно быть свободным от фантазии (и следов психики вообще), и это проникновение должно быть в определенном эстетическом соответствии с неизбежным описанием низших слоев реальности. Иными словами, это должен быть реализм, хотя и метафизический. 2. Наличие метафизических элементов обязывает к краткости. Поэтому лучшая форма — рассказ или небольшой роман. Но в том и другом случае важна предельная концентрация образов, мыслей, ассоциаций; на мой взгляд, немыслимо, например, произведение метафизического реализма сделать столь же растянутым, как бытовой или исторический роман.

Метафизический реализм вовсе не исключает, а часто предполагает наличие парадоксов, сюрреалистических элементов, неожиданных поворотов и даже описаний безобразных сторон жизни.

Разрешите, чтобы быть более ясным, привести небольшой пример. В моем рассказе "Сельская жизнь" конец героя такой: "Кончил он жизнь свою тяжело и противоестественно... А как совсем уже помирал, в агонии, то вдруг стал мочиться; да так весь в мочу и вышел. Смотрит жена, а на смертном одре пусто, только матрац весь пропитан терпкой, словно каменной, мочой. И такой тяжелый, будто весь Матвей туда ушёл.

А как же сознание?

Да разве жена может знать. И хоронить-то некого. Матрац, правда, намертво высушили во дворе, на ветру".

Конец действительно безобразный (и, можно сказать, сюрреалистический): "ушел в мочу". Из рассказа, однако, очевидно, что это также и символ: символ не ухода после смерти в "ничто" или в "низшие состояния", а, судя по образу самого героя, скорее это - символ парадоксальной смерти, радикального исчезновения (без остатка), некоторого нахального вызова этому миру даже самим способом своей кончины. плевок миру, предполагающий, тем не менее, переход сознания не в низшие миры, а во вполне приличные, хотя и, может быть, не без особенностей... К последнему выводу подводят и дальнейшие намеки, как то: появление после смерти героя "обнаженных высоких стариков со скрипками; они остановились как раз около того места, где выскакивало сознание Матвея, и повернувшись лицом к видимой людям пустоте, молча заиграли на скрипках".

Таким образом, подводя итоги: 1. символика вокруг "безобразного события" может быть довольно сложна, и, как например, в этом случае, через легкий намек о переходе в "низшие состояния" на самом деле ведёт к более глубокому представлению: герой перешел не в низшее состояние, а безобразным образом своей смерти хотел выразить себя, вернее, свое отношение к этой "жизни". Значит, то, что "безобразно", на самом деле может символизировать высокую ситуацию (тем более, что символ всегда многозначен и иерархичен внутри себя — причём, высшее глубинное толкование и есть самое верное). 2. Это относительно высокое состояние, в которое ушел герой, нельзя выразить только "высокими" символами (скажем, стариками со скрипками и их игрой), так как оно включает негативизм героя по отношению к этой жизни. Следовательно, для выражения этого негативизма необходим также "негативный" или внешне "низкий" образ-символ (и чем резче, тем лучше) — и появление такого символа совершенно оправдано с эстетической точки зрения.

ПІ. Я остановлюсь лишь на той черте своего творчества, которую я бы выделил как одну из основных. Эта черта: "нечеловеческое" представляет для ме-

ня явный интерес. Конечно, под "нечеловеческим" можно подразумевать и то, что находится только по ту сторону "современного" человека (т.е. человека как он дан в очень ограниченном опыте), но содержится в неизмеримо более широкой и скрытой природе человека (подобно тому, как "физическое" человечество, т.е. существующее сейчас на земле является только малой частью всего человечества). Но меня интересует не только такое "нечеловеческое", но и принципиально, метафизически нечеловеческое, т.е. то, что лежит по ту сторону трансцендентной природы человека. Здесь, конечно, заключен парадокс (в смысле возможности познания такого рода бытия) — но мне кажется, что здесь, это нормальный парадокс, т.е. тот, который открывает двери в реальное.

В моем рассказе "Нога", например, (где описывается человек, влюбленный в свою ногу) "нечеловеческое" носит относительный характер: ибо оно укладывается в рамки метафизического человека. Действительно, в "Ноге" символически повествуется об одном из основных моментов космологической судьбы Человека: об отношении (в данном случае необычном между его Центром (т.е. Божественным Сознанием в нем) и Периферией (т.е. теми оболочками и воплощениями, в которые одевается человек). Зато в таких вещах, как "Изнанка Гогена", "Шиши" налицо уже попытка проникнуть в чисто нечеловеческие "сознания"; насколько это удалось, пусть судят мои невидимые читатели из других миров.

Юрий Мамлеев

I. Опытные. II. Правильная. III. Глубокое.

Николай Боков

1. В поэзии, как и в жизни, не по ученичеству (или же по вечному ученичеству), я самоопределяюсь по любви и на слух, который слишком часто я хочу назвать абсолютным, включая в стих, внезапные для себя, сегментарные обработки интонаций Голоса, слышимо-

го мною во всех явлениях словесности как "тела музыки" (А. Введенский).

Так, в гротесках из "Опыта соединения стихов посредством стихов" (до 1975) возникает "Подстрочник Пушкина" и политический коллаж на темы "Архипелага Гулаг" ("На 13 февраля 1974"). Так, в "Жалобе на времена года" (из "Мой дом слово", 1975) точка от-света — Новалис, а в "Оде Большой Медведице", где под цветаевским "светом совести", как под луной, "Я Меч Господень — Солженицын — и "Слово о полку Игореве" положены на археологию "третьего центра Руси".

Так, в "Превращения на воздушных путях", 1977-78, где православная схема мытарств и церковно-славянская традиция "Песни песней" создают юродливое напряжение в сегментах правизантийских молитв, реальный "голос возлюбленной" как души поэта контрапунктируется интонацией Е. Шварц (единственной, на мой слух, поэтессы, которую сейчас можно поставить в ряд с Ахматовай, Цветаевой, обязательно продолжив его по мужской линии Кузминым, Заболоцким...).

И все это поется по-моему, и здесь я буквалист, поэт поет, а духоборы считают, что и Господь пел, творя мир. Это и сказано мной в заглавии сборника 1976 года: "Пение посреди церковного года".

И очищеньем этого голоса-логоса от тела словесности, на слух же, я буду обязан столько же стихам Святаго Евангелия, сколько просто музыке: Веберна, Стравинского, Шостаковича...

И потому на вопрос:

2. я могу ответить кратко: ,,нахожденье в лоне культуры".

И на вопрос:

3. это нерожденность в духовном. "Я чувствую себя недоноском. Думаю, что это очень русское чувство. Чувство нерожденности в мир. Я переношу это чувство на весь мир. Различая житейские свои ситуации и замечая, как мятутся народы, я полагаю, что мир испытывает рождественские потуги. Я чувствую, что я нерожден. ("Исповедание частности в мире")

Игорь Бурихин

1. Из писателей — больше всего: Гомер, греческие трагики, Данте, Шекспир, Гете и, в ином плане, Достоевский и Толстой. Из философов ближе всего Св. Фома Аквинат, Гегель. Меня философия привлекает как эстетика мышления, создающая законы собственного сознания, причем, глубина мирового проникновения соответствует сложности авторского сознания.

Ближе всего мне — поэзия XX века. Однако для новой поэзии необходим свой гранх — философская ситуация, философский миф. Каждый из поэтов, точнее, софиартов должен создавать свою поэтическую Библию, а не ждать, пока история родит для его поэзии именных лицертов (т.е. персонажей истории и исторического филарта). В частности, такими проблемами занимается Логотворчество; отсюда его 4-ый принцип: принцип построения лицертных космогонических систем с собственными имранам и (Богомессиями, лицами имранам) и имранной полимерностью космогонии.

2. Я занимаюсь проблемами нового софикунра (sofikunr) — философского скачка сознания. Моя эстетическая концепция связана с принципами Логотворчества, (сейчас известно всего 23 основных принципа Логотворчества). Воспроизвожу принцип Логотворчества 8А — лицекраст (litsekrast): явление тем совершение, чем более отдаленные друг от друга в качественном плане единицы пространства-времени оно повторяет в ином принципе их Единого Лица.

В основе Логотворчества лежит система ключей экстермических стихов, эстетизация ощущений посмертной эволюции сознания, соотнесенных с амплитудами метацентра мирового сознания, с поисками (нахождениями) центрального гармонического образа (krint) и хейлекативного предела выражения (kaped).

Если Вы заметили, Гурджиев, Кришнамурти и Успенский вряд ли осознавали, что их концепции являют собой эстетический код сознания совершенно чуждого им философа, вообразившего себя богом. И даже если бы они это осознавали, это ничего бы не прибавило к определению сущности Логотворчества. Ибо концепции персон Аверонны (Шаифа, Чимина,

Виктора Столбова, Суславича, Ивти-Тантра, Уртана, Ронгим-Кроноса) не являются изложением систем русско-индийского окзиграна (оккультной философии). Эти концепции возникают независимо от каких бы то ни было существующих филартных систем (систем философии, искусства etc.) и подчинены исключительно законам эстетического кода логотворческого стиха (exterma). То есть Астарм Аверонны, сочиняя экстермические стихи (exterm'ы), создает также оккультно-философские системы (oxigram'ы) и их авторов (персон) как ликонры (likon) или лицерты Духа своего потенциального сознания и, размышляя над экстермами, вызывает к существованию новые концепции и их авторов для создания последующих экстерм, то есть творит эстетику своего Духа из "ничего", как бы не имея никаких исторических предпосылок.

Является ли Логотворчество в принципе наиболее совершенной предпосылкой нового софикунра, как далеко я смогу продвинуть разработку его теоретических и практических аспектов, являются ли настоящий исторический период и место, где создаются подобные системы, идеальными для их воплощения, — обо всем этом может знать только Судьба. Для автора Логотворчество является только активностью его сознания.

3. Об этом смогу сообщить только по завершении оного.

Илья Бокштейн

I. Я самоучка. П. Не желай себе того, чего ты желаешь другим. III. Я да ты, да мы с тобой.

Генрих Худяков

Что касается анкеты, то это всё-таки — не мой жанр. Сколько ни прикидывал — как-то неубедительно получается, котя наметки ответов и были. На второй, например, вопрос я бы ответил: "удовлетворение абсолютному вкусу", но с остальными двумя вопросами, особенно с третьим, — подобрать оптимально правдивый и вместе не совсем уклончивый ответ не удалось. Леонид Иоффе

- 1. Не говоря о классиках, Хлебников и Хвостенко.
- 2. Она противолитературная желательно, чтобы живая интонация происходила от музыки сфер, а не от душевных неудовольствий. Претензии на истинное писательство только удваивают ложь.
- 3. Если речь идет о моменте исполнения, то, чем меньше я его понимаю, тем лучше.

Анри Волохонский

ВЕЧЕР ПЯТИ СТИХОТВОРЕНИЙ

26-го мая 1979 г. в редакции журнала "Гнозис" состоялся вечер пяти стихотворений. Обсуждались: "Белоснежный сад" Станислава Красовицкого ("Ковчег", № 2, 1978), "Клен" Анри Волохонского ("Менора", № 7, 1975), "Санкт-Ленинград" Генриха Худякова ("Аполлон-77"), "Лечь навзничь вечером" Леонида Иоффе (сб. "Путь зари", 1977), "Отземный дождь" Елены Шварц (печатается в этом номере). Были высказаны следующие мнения:

- Л. Алексеева: Из пяти стихотворений стихотворение Анри Волохонского кажется мне наиболее зрелым и законченным. Несколько архаические образы и выражения не нарушают стиля, и только слово "проекция" выдает время написания. Движение стиха холодноватое и медлительное. На второе место я бы поставила стихотворение Станислава Красовицкого с его своеобразным ритмом и игрой символами. На третье место ставлю "Отземный дождь" Елены Шварц. Отделка стихов немного неряшлива, и есть смешные выражения, например, "поет священник, как петух", но есть оригинальные мысли и живое чувство. Стихов Леонида Иоффе я не понимаю и не чувствую. Ребус Генриха Худякова и не пытаюсь решить.
- **А. Ровнер:** В стихотворении Анри Волохонского "Клё" зафиксировано видение. Так же как в "Куб-

ла Хане" Кольриджа. "Клён" Волохонского несет в себе двойственность, выраженную в парности метафор, парности противопоставлений ("пар" и "жесткость") и, в конечном счете, в двойственности самого клёна, который является и клёном, и символом — дверью в область "чистых форм".

- В. Завалишин: Это стихотворение ("Клён" Анри Волохонского) следует за уже имеющимся, известным знанием, а не идет впереди его. В этом смысле оно вторично.
- **Г. Худяков:** Сейчас слишком многие пишут стихи, и, к сожалению, научились писать их грамотно.
- Г. Глинка: Я привык дегустировать стихи. Эти же стихи незрелые, эпигонские, дилетантские. Говорить о них что стрелять из пушек по воробьям.
- **В.** Завалишин: В свое время Давид Бурлюк считал Марка Родко непрофессионалом и дилетантом, а теперь профессионалы считают Родко первоклассным художником, а картинки Бурлюка стоят двести долларов.
- В. Андреева: Стихотворение Елены Шварц "Отземный дождь" построено на встрече потоков: весенного, ночного и молитвенного: "дождь свечек пламенный, попятный" и "молитв надежды дождь отземный". Образность его перенасыщена и не всегда точна, однако в целом оказывается убедительной для передачи атмосферы пасхальной ночи. Стихотворение построено на параллелизмах: ритмических, синтаксических, смысловых, и неожиданное точное сравнение по слуху восклицания священника с утренним криком петуха разрешает мелодический рисунок стиха и является смысловым акцентом всего стихотворного эпизода.
- М. Волин: Больше всех мне понравились стихи Красовицкого, где тема чистоты человеческой души (белоснежный сад) развита "генетически-эмоционально". Хорош поэтический накал всего стихотворения.

У Елены Шварц хороша концовка стихотворенья: священник поет, "как петух" в пасхальной ночи, и это свежо, и полно внутреннего смысла. Эти три последние строчки выручают все стихотворение, полное трудных и, на мой взгляд, не оправданных инверсий. Иоффе

в своём стихотворении как бы запутался в тенетах слов, что не оправдывается, если даже это сделано нарочито. Стихи Волохонского интересны классической тяжеловесностью, тогда как ребус Худякова (к тому же, писавшийся четыре года?!) возможно что остался ребусом и для самого автора... Хорошие стихи — это некий баланс сердца, ума и духа — трех главных слагаемых человеческого естества.

Е. Вертлиб (отзыв прислан): "Белоснежный сад" Станислава Красовицкого. Ритмическая чеканка древнерусского орнамента: широкий запев и плясовая дробность. Лихая присядка сменяется лирическим солообращением к "Ивашке-дурачку". Как очень редко, спайка согласных "трт" крещендообразна, как от потрескивания сырых разгорающихся дров. Блики и лики. Огненное переходит незаметно в кровавое, и усугубленная краснота явственнее отражает белизну. Воистину: "и жизнь, и смерть даны нам Богом для отраДругие три стихотворения — не понравились.

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ

женья белизны", нетронутой полноты первозданности, постижения гармонии "целоком". Это вышивка светом на плотном льняном колсте. Ничуть не лубок, а скоропись частушечного наигрыша и притопа в такт пронизывающей мелодии разудалой.

Читатель о себе

T

Дорогой Друг! Нет, не посылайте больше мне: тяжело читать и понимать вещи изложенные слишком научным языком. Это что же? Статьи для диссертации... И кому это нужно? Вы меня простите за откровенность, уговаривал еще одного любителя серьезного чтения, но он, прочтя рецензию в газете, сказал мне: "Нет, увольте, от первых же строчек голова начинает болеть, мы уж слишком старые, чтоб этим заниматься,

нет, спасибо!" Вот я выписал книгу Ю. Терапиано — какая глубина мысли! и все же как просто изложено. Посоветуйте Вашим сотрудникам придерживаться простого правила: даже серьезные, глубокие по смыслу мысли выражать просто. Извините меня за совет, но он искренен и благожелателен. Желаю Вам всего лучшего и большого успеха...

Название Вашого журнала многим непонятное — это хорошо...

В. Д. Швейцария

TT

"Гнозис" шел долго, и прочитавши его, я пришла в некоторую "панику". Я не совсем понимаю цель этой публикации, ибо я не "поняла" статей ни по-русски, ни по-английски... А пишут — о чем? Я историю искусств изучала — мистики гораздо меньше.

В. К. Нью-Йорк.

Ш

А вот сочинение Виктории Андреевой "Толстой и Фет". Меня возмутила эта статья, это не статья а набор слов. Для кого она писала? Сама для себя? Не иначе... Разве русский язык так бедный и скудный, что нет равнозначущих слов? ... чем писать такую неудобочитательную глупость, лучше бы ей познакомиться с А. Л. Толстой, она то лучше знает.

Это же не какой нибудь научный журнал и не \mathbf{y} каждого читателя есть под рукою философские и другие словари.

Журнал отвратительный, да еще полно грамматических ошибок, что недопустимо для печатного слова... Что это за слово бездумность, такового в словаре нет?

Я конечно не знаю, но похоже что этот журнал выпускает третья волна, и в какой советской школе она получила подобное образование. Советую Вам проч-

тите небольшой рассказ Аргуса... от что он писал. "Хвала простоте". Великие писатели тем и велики, что они всем нам понятны и доступны... Аргус конечно прав, его все любили.

К. Пятак, США

(Орфография и стиль автора письма воспроизведены без исправлений. Ред.)

TV

Для обыкновенного читателя, не знакомого ни с Рене Геноном, ни с Гурджиевым, ни с Блавацкой, ни Фёдоровым — мало найдется чего-нибудь для него интересного в этом журнале.

М. Сергеев, Париж

(Очевидно, автор имеет в виду Е. П. Блаватскую. Орфография и стиль даны без исправлений. Ред.)

Читатель о "І'нозисе"

T

Я уже Вам писал, что решительно все материалы "Гнозиса" мне интересны: и "Монах и икона", и "Роза мира", и "Религиозные формы будущего", и стихи Аранзона, и Булыжникова, — поскольку "Гнозис", как я думаю, единственный русский журнал, свободный от ситуативной коньюнктуры и целиком посвященный фундаментальным проблемам познания — ф и л а р тны й Олимп (Efilart). Я надеюсь, что в скором времени "Гнозис" сконцентрирует у себя самые лучшие умы и таланты — "гнозисцев". Дай Бог, но и то, что уже есть — здорово.

Илья Бокштейн, Тель-Авив

II

С благодарным вниманием и почти с длясамиздатским скорочтением прочел 3-4 номер Вашего журнала... Поражен интересностью публикаций, например:

эссе Волохонского, которое знаю еще по Петербургу, статьей Архангельского, "продолжением" из Даниила Андреева, — равно как общим уровнем интересности журнала, что стало редкостью в последних русских журналах в рассеянии.

И. Бурихин, Зап. Германия

Ш

Ваша статья ("Принципы и приложения", "Гнозис" 3-4, 1978) потребовала размышлений. Возможно то. что Вы называете принципами, я назвал бы как-то иначе или описал несколькими словами (в том числе, и принципами, если хотите), предоставляя читателю по-своему расставить акценты, по-своему перемотать клубок идей. Во-вторых, я не склонен чисто негативно рассматривать процессы демифологизации или рационализации (в веберовском смысле этого слова). Помоему, они повторяются, и эпохи демифологизации сменяются эпохами ремифологизации. Мы живем в конце эпохи демифологизации и в начале эпохи ремифологизации, наш период — период кризиса демифологизации. Я с сочувствием прочел, что ("Гнозис" 3-4 стр. 10) "эсхотологизм нашего времени — результат исчерпанности профанического знания. Полный триумф профанического знания неизбежно ведет к гибели цивилизации. Конец света — только конец профанического света. Конец профанического света означает только конец иллюзий". Но в прошлом эти переломные эпохи отмечены были рождением новой религии (или новых религиозных течений, например, в рамках индуизма). Возможно ли простое возвращение традиции? Не отпадает ли нечто от плоти традиции? Например, пророчество. Пророки сохранились сейчас, главным образом, в Африке, Не знаю, насколько они истинны ... В Европе пророки, большей частью, оказывались лжепророками. Такой же исчерпанной кажется мне власть царей. Мне хотелось бы сочетать свободу духа с поворотом к духовной глубине (а следовательно и к иерархии глубины). Я не думаю, что это доступно всем. Скорее всего, большинство устремится в сомнительный для меня рай, который Вы рисуете. Мне кажется, надо осознать различие двух путей (может быть и больше двух), предложенных современному человечеству в рамках одной направленности процесса — к восстановлению духовной иерархии. Спасибо за публикацию моей статьи о средневековом буддизме во втором номере Вашего журнала. Желаю Вам новых успехов.

Григорий Померанц, Москва

От редакции: Письмо московского буддолога Г. С. Померанца по поводу статьи "Принципы и приложения" ("Гнозис" 3-4) представляет собой скорее реплику на различные формы нынешних ... ф и л ь с т в — расхожую апологию оживления и монополизации одной из традиций, что не имеет ничего общего с современной философской концепцией традиционализма. Содержанием статьи А. Ровнера является не апологетика архаических форм и не очередная тоталитарная утопия, а рефлексия о первоначальном знании, лежащем в основе мировых традиций. Главная мысль статьи "Принципы и приложения" о единственном назначении социальной иерархии — служить моделью и опорой для внутренних задач человеческого восхождения.

приложение:

ПИСЬМА Б. Ю. ПОПЛАВСКОГО Ю. П. ИВАСКУ

Борис Юлианович Поплавский (1903-1935) — один из самых выдающихся поэтов русской эмиграции 30-х годов. Его книга "Флаги" произвела большое впечатление на — пусть и немногочисленных любителей поэзии в Зарубежной России. "Люблю грозу в начале мая, люблю стихи Поплавского," — писал в журнале "Числа" Георгий Иванов. Но это был очень уж узкокружковый успех. Поколение Поплавского было незамеченное, — утверждал Владимир Варшавский в книге, которая так и называлась "Незамеченное поколение". А теперь Поплавского читают в Москве, куда дошло всего несколько экземпляров сборника "Флаги". Неожиданно сжила поэзия этого русского Рембо, как его иногда называли. Но мотив жалости в его поэзии (и письмах) — не французский, а русский.

О моей переписке. Я жил тогда в Ревеле (Таллине). Приятельствовал со Стерной Шлифштейн, писавшей стихи (и тогда мы оба были студентами Юрьевского, теперь Тарусского, университета). У неё был своего рода богемно-студенческий салон, открытый чуть ли не круглые сутки. С благодарностью вспоминаю её радушие. Отец Стерны — Л. И. Шлифштейн — дантист и отчасти коммерсант, решил издать журнал и предложил мне быть редактором вместе с его дочерью. Я назвал журнал "Русский Магазин" — по аналогии с "Российским Магазином", издававшимся в XVIII-ом веке. Журнал, как и можно было ожидать, туго продавался, и Л. И. Шлифштейн отказался его субсидировать. Номер второй планировался, но не вышел в свет. У меня нет ни одного экзмпляра "Русского Магазина", и не знаю — имеется ли он в западных библиотеках. Не могу вспомнить всего материала, помещенного в журнале. Карл Карлович Гершельман (1899-1951) нарисовал обложку и дал короткий рассказ. Мы поместили, кажется, два стихотворения Стерны Шлифштейн (псевдоним: Стернаш). Я включил мой рассказ "Хаим Цинсгроше".

Я был тогда достаточно осведомлен в эмигрантской

литературе и решил пригласить наиболее литературно "левых" писателей. Написал Алексею Михайловичу Ремизову, но уже не помню — что именно он прислал для журнала. Как-то не решился тогда пригласить Марину Цветаеву. Написал Борису Поплавскому. Мы ведь тогда твердили его зыбко-фантастические стихи—в особенности белыми — совсем петербургскими ночами в Ревеле. Но уже не помню — какие именно его стихи мы поместили.

Перечитывая письма Поплавского, не узнаю адресата, т. е. самого себя. Едва ли я тогда жил "в надрыве", как ему казалось.

В письмах упоминается Лидия Харлампиевна Пумпянская. Её муж занимал тогда крупный пост в банке Шеля. Она издала сборник "Флаги", и Поплавский давал мне разные поручения к ней. Не включаю справок о других эмигрантских писателях, поэтах, журналах, газетах и издателях, упоминаемых Поплавским. Данные о них имеются в книге Г. П. Струве "Русская литература в изгнании" (1956 г.), а также в сборнике статей "Русская литература в эмиграции" (1972 г., редажция Н. П. Полторацкого). В Калифорнии готовится к печати новое издание сборника "Флаги". Отмечу: у меня имеется эта книга с многочисленными исправлениями опечаток, которые я внёс по указанию автора. Обширные архивы Поплавского хранятся или хранились в Париже у его друга графа Николая Татищева.

Посмертные сборники Бориса Поплавского: "Снежный час" (1936 г.), "В венке из воска" (1939 г.), "Дирижабль неизвестного направления" (1965 г.). Проза не издавалась отдельной книгой. В 1938 г. была издана книга "Из дневников".

Памяти Бориса Поплавского было посвящено это прекрасное стихотворение Анны Присмановой:

Его друзьями черви были книг, Забор и звезды, пение и пена. Любил он снежный падающий цвет, ночное завыванье парохода... Он видел то, чего на свете нет.

Он стал добро: прими его природа. Верни его зерном для голубей, сырой сиренью, сонным сердцем мака...

Поплавский промелькнул и в "Дневнике в стихах" Николая Оцупа (1950 г.), о нем было написано немало статей, рецензий.

Примечания: эти письма я подарил Иельскому университету и опубликовываю их с разрешения этого университета.

В письмах Поплавского почти нет знаков препинания, которые я расставил. Написаны они по старой орфографии, но с ошибками: многие "ять" опущены.

Юрий Иваск

18-го мая 1930 г.

Многоуважаемый Юрий Павлович, простите, пожалуйста, меня за то, что я не сумел Вам ответить к 15 мая, так как мне нужно было поговорить с несколькими молодыми писателями относительно Вашего любезного письма. Я очень благодарен Вам за внимание, и самая идея издавать журнал в Ревеле, где должно было сохраниться коренное русское население, мне кажется чрезвычайно целесообразной. Я посылаю Вам несколько стихотворений и свою фотографию. Относительно сотрудников Ваших в Париже, то здесь печатаются несколько поэтов из петербургского Цеха поэтов: Георгий Иванов, Георгий Адамович и Николай Оцуп. Кроме того, здесь есть несколько интересных молодых: Вадим Андреев, Антонин Ладинский, Юрий Терапиано и совершенно молодой, по-моему, очень интересный Борис Закович. Из прозаиков же — Ирина Одоевцева, Юрий Фельзен, Владимир Варшавский, Сергей Шаршун, Бронислав Сосинский. Для удобства предлагаю Вам писать пока на мой адрес: 72 Quai des Orféres. Paris.

С искренним уважением

Борис Поплавский.

Вы меня очень обяжете, если передадите мой поклон Л. Х. Пумпянской.

С тем, что Вы пишете насчет удивления, я совершенно согласен. По-моему, именно удивлением жив пишущий, то есть, скорее, восхищением и жалостью, ибо восхищением, может быть, познается форма мира, а жалостью — его трагическое содержание. Восхитительная жалость (или удивительная жалость) — вот чем мне кажется настоящее искусство. Корабль со звездным креном, да, но именно склоняющийся, наклоненный к чему-то, а не благополучный гордый высотами над водою жизни. Есенин был таким. Маяковский же, по-моему, недостаточно плакал в жизни. Простите, что пишу глупости, но я как-то пытаюсь ответить на Ваше такое хорошее письмо. Напишите мне, пожалуйста, если будет досуг, о литературной жизни в Ревеле и какие у Вас на кого надежды. Я страшно интересуюсь таинственными мистическими вешами и люльми. И моя мечта со всеми ними познакомиться.

Искренно уважающий Вас

Борис Поплавский.

9 августа 1930 г.

Дорогой Иваск,

простите, что не смог Вас своевременно известить о том, что "В чёрном мире" и "Мальчик смотрит..." были напечатаны в "Последних Новостях", но дело в том, что я потерял Ваше письмо с адресом, именем, отечеством до того и долго его искал, но не нашёл. Случилось у меня вот что: эти стихи лежали в "Последних Новостях" уже больше года, и я думал, что они свободны, а они вдруг их нашли и напечатали. Я очень жалею об этом и посылаю Вам другие. Кстати, я очень прошу Вас прислать мне Ваши стихи. Лидия Харлампиевна (Пумпянская) говорила мне, что Вы пишете.

Посылаю Вам также стихи Бориса Заковича. Может быть, они Вам понравятся, я их большой поклонник.

Так я буду ждать. Искренно Ваш Борис Поплавский.

Многоуважаемый Юрий Павлович, спасибо за Ваше милое письмо и деньги. Мне их переслали в деревню, где я проживу довольно долго, до декабря, может быть. Это в Нормандии. Здесь страшный туман, болота, реки и плотины, и хотя холодно, но я отдыхаю и занимаюсь спортом. По-моему, это будет довольно трудно устроить рецензию в "Последних новостях". Лучше послать прямо в редакцию. Что касается "России и славянства", то я с этим журналом, скорее. в плохих отношениях. Зато я могу легко устроить рецензии в "Числах" и "Воле России". Теперь относительно моей биографии, то она чрезвычайно не сложна. Родился в Москве в 1903 г. Учился во Французском реальном училище в Москве же. Эмигрировал в 1920 г. в Константинополь. Начал печататься в 1928 г. в ..Воле России", затем в "Современных Записках", "Последних Новостях", "Числах", "Стихотворении" и "Русском Магазине". Теперь учусь в Сорбонне. Письмо Ваше к Давиду Кнуту я попрошу передать, хотя боюсь не бупет ли запержки. Газпанову я напишу.

Всего хорошего и большое спасибо. Передайте, пожалуйста, мой поклон Лидии Харлампиевне. Стихи я пришлю.

Искренно Ваш Борис Поплавский.

7 октября 1930 г.

Многоуважаемый Юрий Павлович, я переслал Ваше письмо Давиду Кнуту. Что касается Газданова, то я пока не смог узнать его нового адреса. Написал насчёт этого. Пишу Вам с просьбой прислать мне, если будут, упоминания обо мне в местных газетах, которые не всегда сюда доходят. Вырежьте, пожалуйста, или перепишите. Обращаю Ваше внимание на опечатки. Их страшно много, и некоторые из них совершенно меняют смысл.

Всё изменяясь — вместо изменялось... До самой ночи среди синих звезд... вместо

До самой ночи средь синих звезд..., что очень меняет смысл.

Во втором стихотворении:

Подойдет забудет муку...

Подойдет к дверям, забудет муку...,

что тоже совершенно разбивает строфу. Соломея вместо Саломея, что, впрочем, неважно. Прочел "Русский Магазин". В общем хорошо напечатан и составлен. Хотел Вам сообщить следующее. Здесь у меня имеются под рукой клише репродукций парижских русских художников, если они Вам пригодятся, я могу послать и написать пояснительную заметку. Репродукции украшают.

С искренним приветом

Борис Поплавский.

Сообщите, когда нужны будут стихи.

Мой адрес по-прежнему (см. выше — Ю. И.) — мне перешлют сюда.

Прочел Вашу статью о Шиллере и очень одобрил: она вроде декларации. Кстати — еще Достоевский обожал Шиллера.

19 ноября 1930 г.

Дорогой Юрий Павлович, спасибо за Ваше милое письмо. Я прилагаю два стикотворения. Что касается Б. Заковича, то он пошлет свое стихотворение на днях. Говорил на днях с Ремизовым о "Русском Магазине", он очень сочувствует ему, но относительно его успеха и распространения высказал следующие соображения: что, во-первых, с чем я тоже согласен, следовало бы заменить обложку (фотографией, например, Блока), т. к. сейчас ведь юбилей Блока и Белого — пятьдесят лет со дня рождения,

и Вы напишите что-нибудь об этом, ибо думаю Вам Белый близок, а его сейчас никто недооценивает. Потом отдел спорта и кинематографа тоже, если можно с клише. Относительно статей, то была статья Слонима в "Воле России" в новом Х номере 1930. Так я думаю — Вы получаете "Вол. Рос.", я её не посылаю. Кроме того, в новом номере 4-ом "Чисел" будет рецензия одобрительная, насколько я знаю — Варшавского. Относительно "Посл. Новостей" я думаю кое-что предпринять. Все о делах, еще о моей биографии. Я происхождения сложного: русско-немецко-польско-литовского. Отец мой по образованию дирижер, полурусский, полулитовец. Занимался промышленными пелами Мать, из дворян. Жили богато, но детей притесняли и мучили, хотя ездили каждый год за границу и т. д. Дом был вроде тюрьмы, и эмиграция была для меня счастьем. С детства интересовался мистикой, был страшно религиозен и остался. Приехав в Париж, занялся, сперва, живописью, затем, разочаровавшись, стал писать стихи и уехал в Берлин на время, где Пастернак и Шкловский меня обнадёжили. Долгое время был резким футуристом и нигде не печатался. В настоящее время погружен в изучение мистических наук, напр., Каббалы и т. д. Учу в университете историю религий, думаю часто — не в этом ли мое призвание. Посылаю Вам другую мою фотографию и прошу Вас прислать мне свою и подробнее написать о себе и особенно — как Вы относитесь к религиозным вопросам. Ваши стихи мне очень понравились, они надорванные, надтреснутые, какие-то болевые. Такие только я и признаю, ибо боль, по-моему, и рождаемая ею жалость — альфа и омега литературы. Я их частным образом покажу своим товарищам и напишу Вам, что они думают. Обязательно напечатайте их в "Русск. Магазине". Вот и всё кажется. Напишите, как распространение первого номера. "Числа" Вам посланы.

Искренно Ваш

Борис Поплавский.

Дорогой Юрий Павлович,

пишу Вам, сидя в пальто, в совершенно больном состоянии. После страшного пьянства по поводу какого-то юбилея. На улице серо и темнеет уже, несмотря на то, что всего 4 часа. Большое спасибо за Ваше милое письмо и за всё вообще доброжелательство Ваше ко мне. Мне оно очень помогает, ибо я в настоящее время колеблюсь — не бросить ли всё, не посвятить себя исключичительно Религиозной философии. Сомневаюсь во всём в литературной области. Страшно мало сплю, всё больше разговариваю до утра. Наутро встаю больной, отправляюсь покупать книги у букинистов. Читаю, но больше сплю целый день. Дело в том, что в Париже много литературных дел, но мало людей мистически настроенных, чувствую большое одиночество. Вообще мне свойственны разные фобии, то есть наклонности к мании преследования. Всё время борюсь с каким-то страхом. Только летом освобождаюсь как-то в высокие и пыльные солнечныя дни, когда город пустеет, и душа упивается какой-то безнадёжностью и смирением. На Рождество же здесь сезон балов. Все пропивают неизвестно что, под звуки граммофонов, в ателье художников. Очень жалко, что я не могу с Вами до времени (неразборчиво) поговорить на одном из этих балов, когда все танцуют, и всё так трогательно и тщетно. Здесь у нас в этом году повелись разные кружки о Религии. Потом, до утра путешествия по разным кафе и обсуждения. Под утро в том квартале художников, где всё это происходит, на улице и в кафе происходят драки. За столом дремлют нищие и ораторствуют пьяные. Эту среду я люблю, всех жалко и хочется быть таким же. То есть спать на улице, напиваться и плакать. Но я не совсем такой человек, я книжник, скорее (и фарисей тоже). Милый Юрий Павлович, письмо Ваше мне очень понравилось, чувствуется в нем, что вы тоже живете как-то на краю чего-то, что всё полуреально для Вас, как и для меня. И я очень жалею, что Вас нет в Париже, где мы, несомненно, с Вами каждый день встречали бы рассвет на бульваре. Относительно нашего увлечения филологией (?) я обратился к профессору Кульману, и он обещал мне узнать: какие книги об этом нужно читать. Что до "Русского Магазина", то мне, откровенно говоря, не нравится обложка, что до стихов и рассказа Вашего, всё это мне симпатично и интересно. Во всем этом страшный надрыв и то, что нужно сейчас — жалость и религия, что лучше и что хуже — не знаю. Важен тон и всё в нем, и вообще будем чаще писать.

Искренно Ваш Борис Поплавский.

31 декабря 1930 г.

Дорогой Юрий Павлович, спасибо за Ваше милое письмо и за Вашу карточку. Думаю я, что мы с Вами в принципиальных вопросах более согласились бы. чем сперва кажется, ибо я тоже не церковник практически и не поповец. Церкви люблю, но не хожу в них, может быть потому, что церкви в Париже служат родом клубов, где на паперти решаются эмигрантские вопросы. Вообще, милы церкви пустые, хотя и несправедливо это, так что я охотнее хожу в католические. Как Ваш "Русский Магазин"? я перечитывал его давеча, и многое мне очень понравилось, чего не замечал раньше. Только с обложкой никак не могу помириться да и другие типографские недостатки имеются, звездочки некрасивые под стихами и виньетки. Между прочим, рисунок на обложке вовсе неплохой, а очень даже занятный, но не обложечный, обложка должна, кажется мне, быть проще. Еще кажется мне — читал я в "Русском Магазине" рассказ Гершельмана, который мне очень понравился, из военной жизни, что я очень люблю. А также очень интересные стихи Стернаш, особенно короткое, с короткими строками. Кто сей Стернаш?

Между прочим, я болен. Лежу в кровати, обложенный мандаринами и читаю 20 книг сразу. Поэтому письмо получится каракулями, на что Вы не сердитесь. Нравятся мне Ваши мысли о том, что в интересах Бога не следует заниматься религией, то есть Вы хотите сказать, что религия компрометирует Бога, что религия есть нечто антикультурное, может быть, так и выхо-

дит, но нужно ли быть приличными. Я знаю и давно привык к тому, что религиозность вызывает покровительственное и ироническое отношение, что её терпят только и втайне думают, что без неё было бы свободнее, как на дружеском собрании без присутствия какогонибудь старика. Но я лично люблю говорить со стариками и думаю даже, что молодость — это ложь и суета сует...

Милый Юрий Павлович, пишите...
Поздравляю Вас с Новым Годом.
Преданный Борис Поплавский.
Передайте пожалуйста привет Стерне Львовне.

6 февраля 1931 г.

Дорогой Юрий Павлович, отвечаю пока срочно и по делу, не отвечая пока на Ваше прелестное письмо, над которым я много пумал. Нравится мне в нем надрыв. Ах, надрыв, надрыв без конца, в этом вся душа России. Вот дело: напишите пожалуйста поскорее — скоро ли выйдет "Русский Магазин" (вторая книжка — Ю. И.). Посылаю Вам другое стихотворение вместо "зеленого ужаса" (над городом лежит зеленый снег), которое мне срочно понадобилось. И вот еще сходите, пожалуйста, к Лидии Харлампиевне, возьмите там мою книжку, хотя в ней сто опечаток. И попросите её выслать поскорее мне книги по железной дороге, а также передать ей поклон. Поклонитесь еще, пожалуйста, Мадам Стернаш от меня. Милый Юрий Павлович, тут вышли "Числа" 4. Вам пошлют. Вашу поэму прочел очень внимательно, она мне очень понравилась. Там многое неравномерно, но прелестно. Милый Юрий Павлович, до свиданья. Жду от Вас срочной открытки о стихах, ибо у меня здесь с ними разные путаницы. Я нездоров — грипп, вышел слишком рано — простудился опять, целая история. Ну, теперь ничего. Пишу много прозы. Напишите поскорее.

Ваш Борис Поплавский Прилагаю стихи Бориса Заковича.

Копия. Подлинник послан Л. Х. Пумпянской. 17 марта 1932 г.

Дорогой Иваск. сделайте мне божескую милость — исполните мою просьбу, и я буду Вам страшно обязан и готов выполнить все Ваши поручения в Париже. Пойдите к Пумпянским и узнайте: сколько осталось у ней моих книг. и напишите, пожалуйста, сколько надо послать денег. Мне книги страшно нужны, и — если не Ваша доброта — ничего не смогу получить. Я здесь буду ждать Ваших новых стихов, ибо буду редактировать лит (ературный — Ю. И.) отдел "Утверждений", три из которых, уже вышедшие, пошлю Вам тотчас же по получении подробного письма о том, как Вы поживаете и какие у Вас новые идеи. Напишите, пожалуйста, поскорее, что до меня, то я отдаю печатать своего "Аполлона Безобразова" (роман — Ю. И.), которого Вам пошлю.

Так я жду. Простите, пожалуйста, что я Вам надоедаю, но у меня безвыходное положение с книгами. И потом просто потерял Вас из виду и огорчен этим.

Преданный Вам

Борис Поплавский Кланяйтесь, пожалуйста, от меня Пумпянским. 22. rue Barrault. Paris XIII.

DIGEST OF FIFTH AND SIXTH ISSUES OF "GNOSIS"

Victoria Andreyeva — The Era of "Numbers".

The article deals with "the Parisian mystical note", the most significant feature in the heritage of Russia Abroad as presented in the journal "Numbers". The Russian Montparnasse of the 1930s preserved the metaphysical impulse of Russian culture and created an original literary voice.

Vasily Yanovsky — An Extraordinary Decade.

A former member of the Russian Montparnasse and author of "Numbers" speaks in this interview of the literary style and problems of "Russian Europeans".

Gaito Gazdanov — The Adventurer.

Based on Edgar Allen Poe's alleged visit to St. Petersburg, the story, written in Paris in 1930, portrays the image of man who could see through "opaque curtains". The story is introduced by Leonid Tchertkov.

Vasily Yanovsky — Les Champs Elysées.

A chapter from V. Yanovsky's book, devoted to Yury Felzen, "the Russian Proust", presents the everyday life of the Russian Montparnasse and its participants B. Poplavsky, G. Adamovich, S. Sharshun, L. Tchervinskaya and others.

Alexander Bacherac — The Sharshun I Knew.

A portrait of one of the most original artists and prose writers of the Russian Montparnasse.

Eugeny Vertlib — Karamzin and Dostoevsky.

The article traces the transformation in Russian literature of the positive moral doctrine of Karamzin from his "Frol Silin", through Pushkin's "The Tales of Belkin" to Dostoevsky's "The Humiliated and Insulted".

Eugeny Vagin — "The Fear of Russia".

This psychological essay analyzes, on the example of V. Pecherin, the Russian conflict between ethical maximalism and the superficial liberalism of the Enlightenment.

Leonid Tchertkov — D. A. Obleukhov.

A portrait, of the "mysterious Obleukhov", who was, in the author's view, "probably the only Russian Cabbalist before Vladimir Solovyov."

Genrikh Khudyakov — Laertid.

The Moscow poet offers a modern reading of a myth, combining those of Hamlet and Telemachus. The play takes place in Elsinore, Greece and Moscow.

Yury Mamleyev — Arrival.

The story is an anatomy of a hero's spiritual transformation.

Igor Burikhin — Poems.

Three poems by a Leningrad poet; an experiment in contemporary spiritual poetry.

E. Daniel Richie — "East of Eden", "In some ancient city...

Poems by a New York poet with parallel translations into Russian by Arkady Rovner.

Leonid Aranzon — "The Garden" and other poems.

Poetry by a young Leningrad poet with facing translations by Richard MkKane.

Ilya Bockstein — Poems.

Poetry by a young Moscow poet, creator of the theory of "exterm poetry" with parallel translations into English by Richard McKane.

Henry Volokhonsky — "The Two".

A narrative poem on inner ascent, an interpretation of the theme of "Mount Analogue".

Elena Shvarts — Poems.

Poetry by a Leningrad poet.

Reviews: Roger Lipsey: Coomaraswamy, His Life and Work, Princenton University Press, 1977 — A.R.; Material for Thought, The Far West Press, № 7, 1977 — A.R.; Soviet Union, Special Issue: Kasimir Malevich, University of Arizona, № 5, 1979 — B. Krementsova; Оккультизм и Иога, Asuncion, №№ 64, 65, 66, editor A. Asejev — Arkady Rovner; В. Яновский, Поля Елисейские — V. А. Леонид Иоффе, Косые падежи, Путь зари, И., 1977 — Victoria Andreyeva.

1 10

Literary Questionnaire: Lidia Alexeyeva, Vasily Yanovsky, Ivan Burkin, Yury Mamleyev, Nikolai Bokov, Igor Burichin, Ilya Bokshtein, Genrikh Khudyakov, Leonid Jaffe, Henry Volokhonsky.

Events. Correspondence.

Appendix: B. Poplavsky — Letters to G. Ivask.

АННОТАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 5-6 НОМЕРОВ ЖУРНАЛА

Виктория Андреева: Время "Чисел"

Статья о "парижской мистической ноте" — самом современном наследии русского Запада. На Монпарнасе 30-ых годов был сохранён метафизический импульс русской культуры и создано самобытное литературное пространство.

Василий Яновский: Необыкновенное десятилетие Писатель-монпарнасец, участник "Чисел" говорит о стиле и проблемах литературы "русских европейцев".

Гайто Газданов: Авантюрист

Используя гипотетический факт пребывания Эдгара По в Петербурге, автор рисует образ человека, который видит сквозь "непрозрачные завесы". Рассказ был написан в Париже в 1930 году. Печатается с предисловием Леонида Черткова.

Василий Яновский: Поля Елисейские

Глава из книги памяти, посвященная "русскому Прусту" — Фельзену, рисует будни Монпарнаса и его завсегдатаев: Б. Поплавского, Г. Адамовича, С. Шаршуна, Л. Червинскую и других.

Александр Бахрах: Шаршун, которого я знал Взгляд на одного из интереснейших художников и прозаиков русского Монпарнаса.

Евгений Вертлиб: Карамзин и Достоевский

В статье прослеживается трансформация положительной нравственной доктрины Карамзина в русской литературе — от "Фрола Силина" Карамзина через "Повести Белкина" Пушкина до "Униженных и оскорбленных" Достоевского.

Евгений Вагин: "Страх России"

В своем психологическом этюде автор рассматривает русский конфликт между нравственным максимализмом и поверхностным европеизмом просветителььства на примере судьбы В. Печерина, — не затрагивая вопроса о религиозном западничестве.

Леонид Чертков: Д. А. Облеухов

Автор эссе рисует портрет "загадочного Облеухова, вероятно, единственного (до Владимира Соловьева) ... русского каббалиста".

Генрих Худяков: Лаэртид

Московский поэт демонстрирует современное прочтение мифа — контаминацию мифов о Гамлете и Телемахе. Место действия пьесы — Эльсинор, Эллада и Москва.

Юрий Мамлеев: Приход

Тема рассказа — физиология духовной трансформации героя.

- **Игорь Бурихин:** три стихотворения ленинградского поэта опыт современной духовной поэзии.
- **Е.** Даниел Ричи: стихотворения нью-йоркского поэта "На востоке Эдема", "В некоем полисе" с параллельными переводами Аркадия Ровнера.
- **Леонид Аранзон:** "Сад" и другие стихотворения молодого ленинградского поэта с параллельными переводами **Ричарда Маккена.**
- **Илья Бокштейн:** стихотворения московского поэта, создателя теории экстермической поэзии, с параллельными переводами **Ричарда Маккена.**
- **Анри Волохонский:** "Двое" поэма внутреннего восхождения, поэтическая интерпретация темы "горы Аналог".

Елена Шварц: стихотворение ленинградской поэтессы.

Рецензии: Roger Lipsey: Coomaraswamy, His Life and Work, Princeton University Press, 1977—A.P.; Material for Thought, The Far West Press, № 7, 1977 — A.P.; Soviet Union, Special Issue: Kasimir Malevich, University of Arizona, № 5, 1979 — Б. Кременцова; Оккультизм и Иога, Асунсион, №№ 64, 65, 66, ред. А. Асеев — Аркадий Ровнер; В. Яновский, Поля Елисейские — В.А.; Леонид Иоффе, Косые падежи, Путь зари, И., 1977 — Виктория Андреева.

Литературная анкета: Лидия Алексеева, Василий Яновский, Иван Буркин, Юрий Мамлеев, Николай Боков, Игорь Бурихин, Илья Бокштейн, Генрих Худяков, Леонид Иоффе, Анри Волохонский.

Хроника, письма.

Приложение: Письма **Б. Ю. Поплавского Ю. П. Иваску.** Печатаются с предисловием **Ю. П. Иваска**.

ГНОЗИС — религиозно-философский и литературный журнал на русском и английском языках.

ГНОЗИС открыт для новых подходов и парадоксальных идей, не теряя из вида устойчивых ориентиров, заданных русской религиозно-мистической традицией. Журнал не служит узким интересам одной позиции, но с уважением предоставляет слово тем представителям разных религий и путей, кто не удовлетворяются поверхностными ответами и обращены к конечным причинам.

ГНОЗИС выходит в Нью-Йорке четыре раза в год. Сотрудники журнала — богословы, философы, ученые, люди духовного звания и духовного призвания, писатели, художники, поэты.

Cost: \$ 6.00 for one double issue

\$ 12.00 for one year subscription

\$ 20.00 institutional subscription

"РУССКАЯ МЫСЛЬ" — "La Pensée Russe"

Почетный директор Зинаида Шаховская Самая большая русская еженедельная газета на Западе. Выходит в Париже каждый четверг на 16-ти страницах.

Адрес РЕДАКЦИИ и КОНТОРЫ:

217, rue du Faubourg St. Honoré, 75008 Paris. Условия подписки (во франц. франках):

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	40	75	135
Прочие страны	47	84	150

Почт. счет. С.С.Р. 5883-44 K Paris Цена отдельного номера 4 фр.

Аркадий Ровнер ГОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ (15 рассказов)

Книга воссоздает перипетии духовных поисков, испытания и помощь на пути, ситуации встречи с учителем — неожиданный ракурс московской жизни. Метафизический план переплетается с гротеском, элементы сюра с выпуклыми деталями.

Книгу можно приобрести но адресу редакции. Цена 4 доллара.